

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

# МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА

*Автобиография*



КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

# МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА

*Автобиография*

*The Slavic Series*

JOHNSON REPRINT CORPORATION  
111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITED  
Berkeley Square House, London, W.1

1965

Впервые опубликовано в *«Литературном Наследстве»*, том 22-24, Москва, 1935, стр. 427-496.

Статья Бориса Филиппова «Страстное письмо с неверным адресом» впервые опубликована в альманахах *«Мосты»*, книги 9 и 10, Мюнхен, 1962 и 1963, стр. 211-228 и 192-211.

Pages 39-108 were reprinted from a copy in the collections of  
The New York Public Library

First reprinting, 1965, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>Страница</b>
Б. Филиппов. Страстное письмо с неверным адресом.....	1
Н. Мещеряков. Вступительная статья.....	39
К. Леонтьев. Моя литературная судьба.....	45
С. Дурылин. Примечания.....	82



## БОРИС ФИЛИПШОВ

# Страстное письмо с неверным адресом

*... Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом.*

*... Мы не любим не сродное с нами: Леонтьев сам, конечно, был «вечно ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до преступности в исканиях, до великих посвящений (отношение его к христианству).*

*... С Достоевским и Толстым Леонтьев разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно их категории.*

*Из примечаний В. В. Розанова к письмам К. Леонтьева. («Русский Вестник», том 285, июнь 1903, стр. 431).*

Мы, русские, ленивы и нелюбопытны, жаловался Пушкин. И верно. Чем иначе можно объяснить поразительное равнодушие к героической жизни и героическому творчеству одного из самых сильных умов и оригинальнейшего писателя русского — Константина Николаевича Леонтьева.

Длился прекрасный и прекраснодушный век искренней веры в абсолютную ценность личности человеческой. И вера это была укоренена не теми, кто считал всякую личность — отчасти божественной, ибо в ней почит дыхание Божие, отражается лик Божий. Вера в абсолютную ценность личности человеческой, личности земной и плотной, пришла из гуманистических книжек, из проповедей французского просвещения, из лекций кенигсбергского философа, из романсов и поэм романтиков и реалистов, из нравственных прописей европейского либерализма и социализма.

И так бездумно и ласково-поэтически — с Жорж Занд и Консидераном в руках, на упругом диване, после вечера с цыганами или споров на темы «мировой скорби», — так просто, наконец, вышелушались из «абсолютной ценности человеческой личности» и индивидуализм, и идеи самоопределения народов, народовластия, прогресса, социализма. До конца мысль не шла, она лениво замирала и,

Статья о Константине Леонтьева Бориса Филиппова впервые опубликована в альманахах «Мосты», Мюнхен, книги 9 и 10, 1962 и 1963.

потягиваясь, дремала, дойдя до идеи рая земного — окончательного и бесповоротного устройства человечества на основах разума и благоволения. Фаланстеры ли Фурье или коммуна; общинное народоправство «кающихся дворян» или опирающееся на христиански-преображенную соборную личность государство славянофилов, — у всех была конечная Осанна, дальше которой лучше не идти, не додумываться, в которой сомневаться строго запрещено. Чистый и бесприемный хилиазм — только у большинства без Христа и личного бессмертия.

И вот появились немногие, посмевшие усомниться в окончательности, да и в желательности подобного Царства Божия на земле. Федор Тютчев и Федор Достоевский, Константин Леонтьев, Василий Розанов. Их мысли были не в масть эпохе. Одного окрестили, поэтом, лириком, другого — «жестоким талантом», последнего — доморощенной помесью реакционера с чем-то фрейдобразным. А Константина Николаевича Леонтьева просто замолчали. Долго его просто не замечали. 8 мая 1891 года он писал из Оптиной пустыни В. В. Розанову:

«Поверьте, не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый открываете меня, как Америку... Почему это так? Не знаю... Помоему, это объясняется, с одной стороны, очень просто: мало обо мне писали другие...<sup>1)</sup>

13 июня того же года он опять пишет Розанову: «А главное, историческую мою гипотезу все старались обходить осторожным молчанием».<sup>2)</sup> Потом с легкой руки Владимира Соловьева, о Леонтьеве заговорили в кругах, творивших так называемый «русский религиозно-философский ренессанс». Появились сборники его памяти, начали выходить тома его собрания сочинений (в 1912-1914 гг. — всего вышло 9 томов). Но широкой, подлинной известности не было. Слава не состоялась. Только некоторая часть «правых» литераторов извлекает иной раз на свет две-три более или менее перепутанные цитаты из Леонтьева, вернее — цитаты из книг, Леонтьева цитирующих.

\*

Жизнь Леонтьева — материал для романтической повести. Творчество Леонтьева — его широко и страстно написанная автобиография. Будь то романы или повести, будь то его публицистика, или обрывки мыслей и наблюдений, будь то его письма, иногда превосходящие напряженной страстностью мысли и художественской отделкой лучшие страницы его повестей и «Византизма и славянства».

<sup>1)</sup> Письма В. В. Розанову. «Русский Вестник», т. 284, 1903, стр. 646.

<sup>2)</sup> Там же, т. 285, 1903, стр. 169.

Сын помещика средней руки, замечательного, пожалуй, только удалением за буйство из гвардейского полка, Константин Николаевич Леонтьев родился в родовом сельце Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии 13 января 1831 года. Если отец писателя ничем не выделялся из среды провинциального небогатого дворянства, то мать Леонтьева, властная, красивая «боярня» из старого дворянского рода Карабановых, была рождена не для жизни в усадьбе помещика средней руки. И в сельце Кудинове, небольшом и небогатом, она создала особую атмосферу изящества, тишины и устойчивого красивого быта, которые навсегда запечатлелись в душе ее сына:

«Воспоминание об этом очаровательном материнском 'Эрмитаже' до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда цеголоватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни)».

Гимназия, затем, в 1848 году, Ярославский лицей. Но из лицея, в том же году, Леонтьев переводится в Москву, на медицинский факультет университета. Врачом Леонтьев стал не по призванию, а по желанию матери и из-за ряда житейских обстоятельств. И врачом был он недолго. Но естествознание и медицина не прошли для него бесследно: когда сравниваешь, скажем, такого прославленного материалиста и объективиста, как Маркс, с нашим писателем и публицистом, — невольно думаешь: ну, какой же Маркс материалист! Ведь все его учение о прибавочной стоимости и эксплуатации — сплошное внесение элементов моральной оценки в научные построения, претендующие на холодную объективность. Не то у Леонтьева: жесткая, не по-русски жестокая ясность мысли, скальпель естественника — и никакой этики: даже какая-то враждебность ко всякой моральной оценке. В историософических построениях Леонтьева то и дело примеры и сравнения из области болезней, физиологии, ботаники, зоологии, химии. Мышление отнюдь не метафизическое, а скорее естественно-научное, пластическое и резко-отчетливое. В письме 1891 года В. В. Розанову он жалуется, что немецкая и, вообще, классическая философия слишком систематично и настойчиво ведет его мысль, строптивую и сопротивляющуюся. Вот это водительство и насильственность чужой мысли, мало оставляющей на долю самостоятельной мысли читателя, и вызвали протест Леонтьева.

Не окончив университета, Леонтьев, с пятого курса, получив степень лекаря, определяется в полк батальонным врачом, и определяется в Крым, на войну. Время и место действия одной из луч-



ших повестей Леонтьева — автобиографической «Исповеди мужа» (1866) — как раз Крым времени Крымской войны. В Крыму писатель впервые отрывается от привычной и смертельно ему ненавистной обстановки среднерусской городской жизни и погружается в жизнь иную, экзотическую, резко отличную от «среднеевропейской» жизни.

«Так было сладко на душе... Страна вовсе новая, полудикая, живописная; холмы то зеленые, то печальные, на берегу широкого пролива; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимой. Татарские бедные жилища... Воспоминания о страсти еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской».

Мысли о родине русской только проясняются вдали от нее: так с горы утрачиваются детали пейзажа, но рельефно выделяется главное в нем. И, как и в Москве, — романы, романы, романы. Увлечения не слишком глубокие, но всегда бурные и страстные. Но не такие длительные, как пятилетний московский роман с Кононовой. В святая святых леонтьевской души женщины никогда не допускались. Внешне же писатель был весьма предупредителен к женщинам, даже покорен им. В письме к Розанову поучал: жена, мол, — шея, муж — голова. Шея вертит голову, но разумная шея делает это умело: делает вид, что вертится, мол, сама голова — по своему, головы, желанию. А все-таки — думает-то голова...

В Крыму Леонтьев долго усидеть не смог: потянуло в литературные центры. Писать начал он рано. В 1851 году написал комедию «Женитьба по любви» и понес ее Тургеневу: «Ваше произведение болезненное, но очень хорошее», — сказал начинающему автору Тургенев.<sup>3)</sup> Вслед за этой комедией Леонтьев пишет ряд повестей и рассказов, опубликованных в «Московских Ведомостях» за 1851-1858 годы («Благодарность», «Ночь на пчельнике»), в «Отечественных Записках» времен Крымской войны («Лето на хуторе», и, позднее, «Сутки в ауле Биюк-Дорне») и «Библиотеке для Чтения» 1859 или 60 г. («Второй брак»). Вещи эти — согласно авторской воле — никогда переизданы не были:

«Все эти первые повести мои очень плохи, — писал в своем литературном завещании автор, — они по изложению слишком еще похожи на ненавистную, господствующую у нас школу...<sup>4)</sup>

Шесть месяцев проводит Леонтьев у крымского помещика Шатилова, получив отпуск с военной службы. У Шатилова начат роман «Подлипки», опубликованный осенью 1861 года в «Отечествен-

<sup>3)</sup> «Мои дела с Тургеневым», Собр. соч., т. 8.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. 1, стр. IX. «Ненавистная господствующая у нас школа» — гоголевская.

ных Записках». В «Поддипках» имя героя — Ладнев. Так же называет Леонтьев героя «Египетского голубя», повести уже прямо и откровенно автобиографической. В 1857 году писатель получает увольнение от службы, возвращается в Москву, хлопочет о месте: принадлежащая ему часть имения (Леонтьев не единственный сын) прокормить его не в состоянии. Два года живет он в имении баронессы Розен в Нижегородской губернии в качестве домашнего врача. Но тишина и размеренность жизни становятся для него несносными. Кудиново, родовое гнездо, затем — Петербург. Но Петербург — «Современника», Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — отвратителен Леонтьеву. Он — явление в России своеобразное, глубоко нерусское. Никакой моральной сентиментальности. Никакой любви к человечеству вообще. Она и невозможна, эта любовь к неведомому человечеству, — возмущается Леонтьев: реально и крепко, действительно можно любить только близкого своего, да так и надо... Ведь только для себя и для своих кровных близких делает человек что-то ценное — ценное для культуры всемирной: то, что он делает «для человечества вообще», неизбежно плохо, малокровно, никому — тому же отвлеченному человечеству, в частности, — не нужно...

«Верно только одно, — точно — одно, одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях — именно о ближних, а не о всем человечестве.»<sup>5)</sup>

Леонтьев — единственный, может быть, в России подлинный человек Возрождения, с его эгоизмом, с его открытой душой к прямой красоте, а не поэтичности (то есть красоте косвенной, опосредствованной), с его жаждой утонченного, а зачастую и грубоватого сладострастия, с его неумемностью к пестроте, яркости, диковинности — и это не в искусстве, а в самой жизни. Не эстетика отражений (т. е. искусства), а эстетика самой жизни. Поэтому несколько наивно звучат слова Н. Бердяева в его известной книге о Леонтьеве: «...эстетический вкус его не был безупречен. В нем не было настоящей утонченности западных эстетов. Его эстетическая культура не была достаточно высока»<sup>6)</sup> и т. д. Здесь — явное смещение понятий «эстетики жизни» и «эстетики истории», как их понимал Леонтьев, — и эстетизма, даже эстетства, как пассивного восприятия образов отраженной красоты — образов искусства.

<sup>5)</sup> «Наши новые христиане», 1880, Собр. соч., том 8, стр. 189.

<sup>6)</sup> Н. Бердяев. Константин Леонтьев. Париж, 1926, стр. 172.

«Нет, не нравственная, но эстетическая сторона почти всех празднеств XIX века не хороша. Не душевный смысл их, а пластические формы ужасны!» — пишет Леонтьев Фету в 1889 году.<sup>7)</sup> И в век, ораторствовавший: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — он писал:

«Игнат Лойола и Джон Нокс или сам Лютер, Петр Пустынный или Иоанн Гус, Папа Лев X и даже Александр Борджиа, испанский гранд или итальянский нищий и т. д. будут, как живые образы, как люди жизни, беспрестанно рассматриваемые, всегда интереснее (т. е. прекраснее, т. е. культурнее), чем все члены нынешних представительных собраний и чем все кабинетные труженики вместе взятые».<sup>8)</sup>

Это не могло не раздражать. С самого начала литературной деятельности Леонтьева его ругали, почти не читая. Когда вышел в 1864 году второй большой роман Леонтьева «В своем краю» («Отечественные Записки»), в «Современнике», как пишет автор в своем литературном завещании, —

«роман очень язвительно сравнен (был) с хрестоматией, в том смысле, что он будто бы весь слит из кусков Тургенева, Л. Толстого, Писемского и Григоровича. Критика, — замечает автор, — очень хороша, и роман, за грубость некоторых приемов, заслуживает строгого разбора... По мысли, конечно, он самобытен».<sup>9)</sup>

Но чаще всего о Леонтьеве просто молчали... А, вместе с тем, уже первые зрелые вещи К. Н. — «Подлипки» и «В своем краю» — написаны во многом по-новому, как до него никто не писал. Элементы импрессионизма, элементы «бессюжетности» и тонкой словесной живописи неоромантического склада, некоторая чрезмерность эротичности — при ненависти ко всему внешне грубому и неизящному: для Леонтьева всякая простота хуже воровства...

В 1861 году Леонтьев совершенно неожиданно, никого об этом не извещая, отправляется в Феодосию и венчается там с красавицей гречанкой, полуграмотной и неумной, дочерью мелкого торговца-мещанина, Елизаветой Павловной Политовой. Изменяет он ей постоянно, влюбчивость Леонтьева чрезвычайна. Но Леонтьев не бросает жену никогда, терпеливо неся крест брака с женой-неровней, женой, к тому же, вскоре сошедшей с ума. На брак Леонтьев всегда смотрел — с человеческой, житейской точки зрения — как на тибель всякой поэзии, всякой любви. Уже герой «Подлипок» восклицал:

«О, Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным как

<sup>7)</sup> «Не кстати и кстати». См. собр. соч., том 7, стр. 485.

<sup>8)</sup> Собр. соч., том 7, стр. 535.

<sup>9)</sup> Собр. соч., том 1, стр. IX-X.

свежий осенний день?.. Эта светлая одинокая жизнь не лучше ли и душевного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?»

О прозе семейной жизни проповедует и Ладнев, герой «Египетского голубя». Только религия делает — и притом принудительной и тяжелой церковной санкцией — и только через таинство брака — семью прочной и незыблемой. В «Византизме и славянстве» автор недоумевает даже, как это можно говорить о природной и изначальной прочности русской семьи: мы, русские, вернее, великорусы, гораздо менее награждены семейным инстинктом, чем англичане, немцы, турки, даже наши же украинцы.

«Семья?.. Но что ж такое семья без религии? Что такое русская семья без христианства? Что такое, наконец, христианство в России без византийских основ и без византийских форм?»<sup>10)</sup>

Таким образом, только византийские формы, привитые к дичку русской анархической семьи, делают ее — и только через церковь — крепкой и принудительно-крепкой..

После брака, да еще после крестьянской реформы, Леонтьев окончательно остается без средств существования. Пришлось опять поступить на службу — на этот раз дипломатическую. В 1863 году К. Н. уезжает на о. Крит, секретарем консульства. Так начинается его жизнь на Востоке, привлекающем его пестротой и своеобразием быта, непохожестью на ненавистную ему Европу XIX века своей поэзией первобытной нетронутости и многонациональности. Леонтьев — романтик, и романтик европейского, нерусского склада. Он не видит красоты-выразительности. Его идеал — идеал пластической красоты. Не Рембрандт, а Рафаэль. Не Гоголь, а «многообразный, чувственный, воинственный, демонически-пышный гений Пушкина». <sup>11)</sup> Не «розовый христианин вселюбви» — Достоевский, а, скорее, «умный турецкий паша», хорошо понимающий, что —

«хорошие люди... нередко бывают хуже худых... Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и городничие Гоголя несравненно полезнее их для целого»..<sup>12)</sup>

На Востоке Леонтьеву нравится все, вернее, почти все: и быт, и красочные обычаи, и яркое, живописное искусство. Не нравится ему — как и герою его «Египетского голубя» Ладневу, — только семья. Не нравится она ему прозаической прочностью и незыбле-

<sup>10)</sup> Собр. соч., том 5, стр. 119.

<sup>11)</sup> Собр. соч., том 8, стр. 177.

<sup>12)</sup> «Византизм и славянство», Собр. соч., том 5, стр. 143.

мостью, первобытной простотой своей. Ладнев в «Египетском голубе» говорит:

«Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали ангел красоты отворял окно своей кельи', и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гете, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета».

Леонтьев — европеец-романтик. Он бежит из Евро—1 «мещанско-либеральной», как бежали из нее Байрон в вымечтанную романтическую Грецию, Шатобриан — в не менее фантастические Средние века, как пушкинский Алеко — к оперно-балетным красочным цыганам...

Чем же пр—лекает Ладнева-Леонтьева Восток?

«... Дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть».<sup>13)</sup>

На Востоке Леонтьев находит и первобытную гомерическую поэзию младенчества, и сложное цветение своеобразного иерархического строя, турецкого феодализма и греческой православ—й строгой и культураносной церковной иерархии. На востоке написана и самая интересная его повесть из русской жизни — «Исповедь муща» (1866) —

«в высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонко-развратное; ничего христианского в себе не имеющее, но смелое и хорошо написано; с искренним чувством глубоко развращенного сердца»,

— так характеризует эту свою вещь сам автор, уже будучи монахом. И прибавляет:

«Если бы успел приделать к нему эпилог, в котором, по крайней мере, объяснил бы вопрос с церковной точки зрения, в противоположность чистой этике (которую я и теперь, при всей искренности моей веры, мало уважаю), то еще было бы сносно. Но я бы просил в этом виде ее не печатать: грех! и грех большой! Именно потому, что написано хорошо и с чувством».<sup>14)</sup>

Уже эта повесть — яркий протест, вызов всем соци—ль—им устремлениям XIX века: воинствующий индивидуализм — совсем иной окраски, чем у Достоевского в «Записках из подполья», написанных почти одновременно, но столь же непримиримый; тот же

<sup>13)</sup> «Египетский голубь». 1881, Собр. соч., том 3, стр. 308-309.

<sup>14)</sup> Собр. соч., том 1, стр. X.

протест против дважды два четыре, против фетишизации здравого смысла.

На Востоке же написаны и повести «Из жизни христиан в Турции». На Востоке же задумана и пишется огромная эпопея — цикл из пяти (или еще большего числа) романов «Река времен». Романы эти должны были показать и излюбленную автором усадебную жизнь, и язвы, и пути России начиная с 1811 и по 1862 год. Критку, на котором Леонтьев пробыл около полугода, посвящен «Очерки Крита», «Хризо», «Хамад и Макалы». Но на Крите, где К. Н. пережил «медовый месяц своей службы», остаться не пришлось: Леонтьев (как и герой «Египетского голубя») ударил хлыстом французского консула за оскорбительное для России слова этого «несчастного европейца». К. Н. отозвали в Константинополь, и через четыре месяца назначили секретарем консульства в Адрианополь. В 1867 году Леонтьев — вице-консул в Тульче. Там и начались первые симптомы сумасшествия же, вероятно, из-за ревности: К. Н. постоянно изменял своей красивой простушке. В 1869 году Леонтьев — консул в Янине, с 1871 года — консул в Салониках. Жизнью своей на Востоке К. Н. доволен, считает, что лучшей службы не может и быть, только вот денег ему, привыкшему к барскому образу жизни, не достаёт, он весь в долгах, как в шелках... Дипломату К. Губастову, своему приятелю по работе на Ближнем Востоке, он пишет деловито и ясно:

«Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя послушайте моих советов: 1) не откладывая, заведите себе любовницу простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4) не радуйтесь вниманием франков; 5) гуляйте почаще на берегу Тунджи и вспоминайте меня; 6) пойдите когда-нибудь с кавасом к мечети Султан Баязета и устройте там на лужайке, около киоска, борьбу молодых турок, под звук барабана; это прелесть!» И в другом письме: «Не думайте, чтобы моя личная жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна». Жену он по-своему любит, но удивляется: «отчего же на брак не хотят смотреть, как на общественное тягло»; «брак же для женщины опасен физически, а для мужчины — скучен большей частью крайне»; «брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала».

На Востоке Леонтьев упивается эстетикой турецкой жизни, уважает, как хранителей византийского церковного идеала, греков и презирает славян. Он считает, что балканские и западные славяне с стремлением стать «средними европейцами» — взрывчатый материал для России, носительницы византийских охранительных начал. Эстетически же ему эти обезличенные европеизированные славяне просто омерзительны:

«Чобан-оглу (болгарин, врач, в повести «Египетский голубь», Б. Ф.) настолько стал европейцем, насколько нужно греку или болгарину, чтобы стать пош-

лее и, утратив оригинальность, не приобрести ничего того высшего, что может дать истинная образованность».

И «больной человек» — Турция, и «лоскутная империя» — Австро-Венгрия, — необходимы для того, чтобы сохранить мир и мировое будущее от распада, по крайней мере, необходимы для того, чтобы задержать процесс гниения мира, процесс «вторичного смещения». Всякое национально-освободительное движение в XIX веке неизбежно должно вылиться в те же формы «эгалитарно-обезличивающего прогресса», который должен погубить человечество. И в русском-то народе, в противовес славянофилам, Леонтьев не видит природно-привлекательных черт: ни семейственности, ни чувства родовой чести, ни рыцарства, ни устремленности к высокой духовной культуре. Одно делает русский народ, по мнению Леонтьева, пригодным, может быть, для той роли, которая возложена на него: задержать, насколько это возможно, процесс всеобщего «вторичного смещения». Это качество — си—ное развитие в великорусском народе чувства государственности: «государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи».<sup>15)</sup> На Востоке кристаллизуются и взгляды Леонтьева на исторический процесс, вырабатывается его «триединая формула процесса развития», блестяще изложенная позднее в лучших произведениях писателя — «Византизме и славянстве» (1875), и посмертном «Среднем европейце, как идеале и орудии всемирного разрушения».

На Востоке же пишет Леонтьев и большой роман из греческой жизни — «Одиссей Полихрониадес», роман рыцарский и скучноватый. Сам автор явно переоценивал его, называя своим лучшим творением. Авторская оценка не всегда справедлива.

В июле 1871 года, после сильнейшего приступа холеры, после очередного драматического увлечения (это мы знаем из писем к Розанову), в страхе смерти и загробной ответственности (а для Леонтьева христианство — не проповедь всеобщего спасения, а прежде всего страх Божий и жажда личного спасения: «трансценденталь—ий эгоизм»), — К. Н. дает обет поступить в монахи, отправляется на Афон, к старцам. Сначала остается он там недолго, возвращается в Салоники, сжигает там многолетний труд свой — серию романов «Река времен».<sup>16)</sup> Эта жертва Богу и все тот же страх смерти-уничтоже-

<sup>15)</sup> «Византизм и славянство». Собр. соч., том 5, стр. 127.

<sup>16)</sup> До сих пор считалось, что «Река времен» погибла для нас совсем. Однако в томе 22—24 «Литературного наследства», Москва, 1935, в примечаниях С. Н. Дурылина сказано, что неизданный роман «От осени до осени», составляющий пятое звено цикла «Река времен», уцелел. Дурылин приводит извлечение из этого романа. В примечаниях Дурылина указан еще один роман Леонтьева — «Две избранницы», первая часть которого обнаружена в журн. «Россия» за 1885 г., вторая часть сохранилась в рукописи, третья утеряна.

ния («ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное бессмертие», — как пишет он Розанову), снова приводят его в монастырь, на Афон. «Я поехал на Афон, чтобы попытаться стать настоящим православным». Пережитый Леонтьевым ужас «был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно и ужас греха и ужас смерти... Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и смерти». Это — в письмах. А вот из посмертных воспоминаний «Моя литературная судьба», со знаменательным эпиграфом на рукописи: „Ars longa, vita brevis“:

«На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать, и не верил, что я буду еще жить, я думал, что все меня забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария (старцев афонских, В. Ф.) поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: 'чем хуже, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его...'»<sup>17)</sup> «И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший... Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня; я нахожу, что Богу было угодно убить меня...»<sup>18)</sup>

Смирение? Или бунт против Бога, да еще в самой его утонченной форме? Гордыня?

«Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости, мягкости характера, за которые меня многие любят... А я скажу: да! В этих записках она даже и не скрыта — эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой моей самоуверенностью! Тем более, что я все-таки прав...»<sup>19)</sup>

Нелегко было Леонтьеву побороть этот дух самоудовлетворенной — в глубинах духа своего — самости. Он и не поборол его — пал в неравной борьбе. Монахи не были к нему строги. Они, как на Афоне, так, позднее, и в Оптиной пустыни, даже благословили его на писательство:

«Знаете ли вы, — пишет он в письме к А. Александрову, — что я две самые лучшие свои вещи, роман и не-роман («Одиссея» и «Византизм и сла-

<sup>17)</sup> «Литературное наследство», том 22-24, Москва, 1935, стр. 465.

<sup>18)</sup> Там же, стр. 467.

<sup>19)</sup> Там же, стр. 468.



вянство») написал после 1½ года общения с Афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской борьбы с самим собою?»

Консульская карьера Леонтьева закончена. Он, после года на Афоне, уходит в отставку, поселяется в Константинополе, пытается уговорить своих афонских ставников постричь его в монахи, — в чем ему монахи, совершенно резонно, отказывают, — снова любит и увлекается, пишет и пытается убеждать Вронских, которые его не слушают, обращается не по адресу к своей эхидне, которая не понимает его, и к своим современникам, одержимым духом социальной справедливости и, поэтому, его не слушающим. «Страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом», как называется творчество и горячую проповедь Леонтьева единственный человек, сердечно пришедший к нему, увы, в самый последний год жизни К. Н. «Неоцененный и неожиданный друг», — так именует молодого Розанова умирающий Леонтьев. Но это — после, это перед самым концом. А сейчас — одиночество, полунищета, главное же — забытость, неприкаянность, ненужность никому в эпохе.

В 1874 году окончательно покидает Леонтьев Восток, и едет в Москву, затем в Кудиново, которое вскоре вынужден продать — долги одолели — разбогатевшему мужику. Наконец, — последнее пристанище — «консульский домик» вне ограды Оптиной пустыни, тайный постриг, ученичество у старца Амвросия. Первое посещение Оптиной пустыни — в 1874 году. Окончательное поселение в ней — в 1887 году. В промежутке — скитальчество, редактирование официозного «Варшавского Дневника», в котором К. Н. числился официально лишь помощником редактора, работа в «Русском Вестнике» Каткова, которого не любил; да и Катков считал Леонтьева полубезумным баричем. . . Но и в Оптиной страсти не оставляют писателя, он, как видим из его записок, отнюдь не смирился. . . В консульском доме пустыни Леонтьев живет, — а он тайный монах, — с безумной женой, со старыми верными слугами, которых помещицы любит, живет, сохраняя весь дорогой ему уклад усадебной жизни. И продолжает писать, часто подспудно. Написанная им для издания книга «Отец Климент Зедергольм. Иеромонах Оптиной пустыни» значительно менее интересна, чем обнаженные до предела его воспоминания «Моя литературная судьба» или такие же письма к Розанову. Но в Оптиной пустыни написана и такая замечательная книга, как «Анализ, стиль и влияние (о романах гр. Л. Толстого)», написанная тоже слишком рано, — это ведь первый, после Аполлона Григорьева, шаг создания русской эстетической и философской критики. В Оптиной же пишется и «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». Теперь пессимизм Леонтьева принимает совсем уже черную окраску. Нет,

и русский монархизм и русское православие не задержат, не замедлят прихода всеобщего вторичного смешения, не задержат смерти. Национальный идеал для Леонтьева был всегда служебным, а верховной ценностью была идея религиозная или эстетико-культурная. Одно утешает его: испытав даже коммунизм, разочаровавшись в науке, как панацее от всех бед, человечество неизбежно придет к «сознанию своего практического бессилия», к «мужественному покаянию и смирению перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры».<sup>20)</sup>

Жесткий и даже жестокий в предельной честности и открытости мысли своей, мысли ни перед чем не останавливающейся, Леонтьев в жизни был добр, благодушен, жалостлив. В посмертно изданном отрывке «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе», он писал о —

«той любви к людям, о которой я никогда не проповедывал пером, представляя это другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают это».<sup>21)</sup>

Тяжелые лишения — и это для ни в чем не привыкшего отказывать себе человека; заброшенность и одиночество заставляют на минуту даже покачнуться гордыню леонтьевской самости:

«... хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен (пишет он в «Моей литературной карьере»), но когда дело касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них-то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения...»

Только в самые последние годы, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже наверное не за горами, я стал мелочнее и насчет литературы; я стал более прежнего дорожить моим положением литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренны и расчётливы эти мнения, Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения не сильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе *memento mori* и благодарю Бога за то, что я жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить пятичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской шестнадцатилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды,

<sup>20)</sup> Собр. соч., том 8, стр. 191.

<sup>21)</sup> Собр. соч., том 9, стр. 12-13.

лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать, что хочу... — но для того, чтобы шить себе дешевые сапоги, чтобы купить жене калоши, чтобы голод, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря... на какую-нибудь работу не по силам и вкусу... Теперь я смирился, если не в самомнении, то по крайней мере в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним величавым удалением среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я смирился литературно в том смысле, что иногда... даже (каюсь, каюсь и краснею от этого чувства...) я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что у одного лишь Тургенева находил наружность пригодную для публичной поэзии». <sup>22)</sup>

Но сразу же — вслед за минутной слабостью — не поддамся! А все-таки она вертится! И вновь отстаивает Леонтьев свой «триединый процесс развития», — цело, казалось бы, лишаящий людей всякой свободы выбора, всякой возможности проявления своеволия, но приводящий автора к какой-то — логически непонятной — свободе. Как раз обратное Шигалеву: тот, «выходя из абсолютой свободы, кончал абсолютным деспотизмом», и это строго логическое, — а Леонтьев, исходя из полнейшего деспотизма, прорывался к духовной свободе и даже своеволию. И при этом уговаривал себя: смирись. Воля Провидения. И не смирялся...

Так и умер он, никем непонятый, непризнанный, чужой всем. Умер монахом, но и на смертном одре бушевал, кричал, что умирать не хочет, не согласен... Умер он от воспаления легких 12 ноября 1891 года, шестидесяти лет от роду...

\*

В чем же состоят эти воззрения Леонтьева на «триединый процесс развития» и его взгляды на «эстетику жизни и истории»?

«Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего царства, могучий, но все-таки способный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному. Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий. Во всех положительных религиях, кроме огромной поэзии их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе... А общее благо, если только начать о нем думать (чего обыкновенно, говоря о благе и пользе, в наше время и не делают), что в

<sup>22)</sup> «Литературное наследство», т. 22-24, Москва, 1935, стр. 452-453.

нем окажется реального, возможного? Это самое сухое, ни к чему хорошему, даже ни к чему осязательному не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу; другой находит, что общее благо это — то работать, то наслаждаться, всегда, — и ничему не верить идеальному; а третий — только наслаждаться всегда, и т. д. Как примирить, чтобы всем нам было полезно (т. е. приятно-полезно, а не поучительно-полезно)?.. Однообразно-настроенное и блаженное человечество — это призрак и вовсе даже не красивый, и не привлекательный»...<sup>23)</sup>

Свести все противоречивые и противоположные человеческие устремления, волнения, желанья к чему-то средне-ста-стическому — значит ничего не разрешить и никого не удовлетворить. Гетерогония человеческих воль и целей исконна и вековечна, да так и надо, это и создает движение в мире, создает саму жизнь. Но, может быть, можно реформировать общество, построив его на принципах здравого смысла? Если и не все будут удовлетворены — это невозможно! — то хотя бы здравые притязания окажутся не за бортом жизни? Но что такое сам-то «здравый смысл»?

«Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на Средние века как на безумие веры, а XXI век не взглянет ли на наш, как на безумие положительности, здравого смысла и пользолубия?»<sup>24)</sup>

За три года до этого Достоевский в «Записках из подполья» (1864) заявил:

«Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода, иной раз, не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?.. Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды это — благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы по-вашему... обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают?.. Беда бы не велика взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает и ни в один список не умещается... Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы да-

<sup>23)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., том 5, стр. 145-146.

<sup>24)</sup> «Исповедь мужа». 1867. Собр. соч., том 1, стр. 598.

же до сумасшествия, — вот это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, ... от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чорту... Человеку надо — одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы не привела».

Леонтьев, отрицательно относившийся к Достоевскому и его «розовому христианству», высоко ценил «Записки из подполья», но воинствующий индивидуализм Достоевского был ему не по душе. Сам он старался оставить в какой-то мере здравый смысл и выгоду — потребу практической жизни отдельного человека, выходящая их высших принципов своей историософии.

«Все, что я говорю, — пишет он в «Исповеди мужа», — не совсем согласно с философией здравого смысла... Для философии мироздания здравый смысл никуда не годится, но для философии жизни он одно спасение».<sup>25)</sup>

Но и в социально-политической жизни целых народов и государств Леонтьев приемлет в известной мере здравый смысл и выгоду, как оценочный критерий и как побудительный жизненный импульс. Не приемлет он их только, как высший, всеобъемлющий критерий, тем более, как критерий всеобщий.

«Вы видите, я ничего не говорю о сочувствиях, о страданиях и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут. Откровенное обращение к интересам эгоистическим вернее. Если эгоизм государственного долга совпадает с преданиями, с привычными сочувствиями и т. п. вещами, очень высокими и важными (но не всегда политическими), тем лучше: можно верить бескорыстию сильной державы».<sup>26)</sup>

Альтруизм, самопожертвование — все это приложимо только к отдельной человеческой личности, и то в плане религиозно-мистическом, в плане личного спасения, «трансцендентального эгоизма», ибо личность человеческая бессмертна и ее ждет воздаяние за гробом. Ну, а нация, государство — они-то не бессмертны, они живут свой век (1000-1200 лет максимум, как определяет Леонтьев), — для них, следовательно, в их практической жизни, критерий чисто эгоистический только и верен, и только он. В этом Леонтьев — прямой ученик Н. Я. Данилевского,<sup>27)</sup> зависимость от которого — в ряде по-

<sup>25)</sup> Собр. соч., том 1, стр. 608.

<sup>26)</sup> «Панславизм и греки». 1873. Собр. соч., том 5, стр. 13.

<sup>27)</sup> См. Н. Я. Данилевский, «Россия и Европа». Изд. 5-е, СПб., 1895, стр. 31-32: «Требование нравственного образа действия есть ничто иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон... Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно, необходимо, чтоб он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно также, как и во всех природных или, что то же самое, божественных законах. Но если для человека все оканчивается здешней жизнью,

ложений своего учения — сам он охотно признавал. Эгоизм, к вполне законный стимул поведения государства и отдельной личности — в пределах ее чисто-животной жизни, — не может, однако, быть высшим мерилom оценки. Но он, эгоизм, хорош тем, что не позволяет ни личности, ни государству «заноситься», превозносить себя превыше всего; всякий эгоизм в глубине души сознает свою относительность, ограниченность другими личными и национальными, культурными и государственными эгоизмами, — и принужден прибегать — для оценки событий, поступков, творчества и поведения — к какому-то другому, высшему критерию. Поэтому для отдельной личности высочайшим мерилom является религия: страх смерти и ответа на Страшном суде; жажда личного спасения — «трансцендентальный эгоизм» (в чем и заключается и мистическая, и жизненная сущность христианства для Леонтьева). Но может ли служить это мерило всеобщим критерием оценки? Оценка исторического процесса, оценки государственной деятельности? Нет, не может — категорически отвечает Леонтьев. Да, религия, церковь — выше государства, как государство выше племени, народа. Но можно ли судить магометанина или мусульманское государство с точки зрения до христианской морали, и наоборот? Можно ли судить неверующего так, как верующего? Нет, нельзя, — говорит Леонтьев. Религиозный критерий — критерий абсолютный и высший, но не самый широкий, не универсальный и не может быть общим. Еще менее может быть таким критерием критерий национально-племенной. «Народ — тело Божие», — свидетельствует Достоевский устами Шатова.

«Племя, разумеется, — явление очень реальное, — усмехается Леонтьев. — Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все

то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ни откуда иначе почерпаться, как из требований этой жизни, — из того, что составляет ее сущность, то-есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия... Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требования этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то-есть политики... Бентамовский принцип утилитарности, то-есть здравого понятия пользы, — вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования...»

Сравни также мысли Достоевского, что без идеи Бога и бессмертия логическим следствием в отношениях людей будет каннибализм.

великие нации очень смешанной крови... Любить племя за племя — натяжка и ложь... Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций — это все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука. Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидательного, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть нечто иное, как своеобразие; а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций». <sup>28)</sup>

Культура, т. е. своеобразие, своеобычность — вот критерий оценки. А это своеобычие является продуктом безудержного эгоизма, борьбы наций, классов, сословий, плодом многой крови и обилия страданий. И в основе своеобразия этого — свободная игра злых и добрых сил, лишенная моральной опеки всенивелирующего «здорового смысла» и «общественной выгоды», никогда с личной выгодой не совпадающей.

«Под словом культура я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом своеобразная мировая культура я разумею: целую свою собственную систему отвлеченных идей, религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных, экономических (необходимо прибавить, когда дело идет о нашем времени, — ибо нельзя же отвергать, что экономический вопрос везде теперь стоит на очереди и что та нация, или то государство, которому посчастливится захватить в свои могучие и охранительные руки это передовое и ничем до поры до времени неотвратимое движение умов, станет на целые века во главе человечества и не только себя прославит неслыханно, но и предохранит множество драгоценных этому человечеству предметов и начал от насильственного разрушения)». <sup>29)</sup>

Нельзя подходить с моральной оценкой к истории, к культуре: величайшая гармония достигается борьбой и сочетанием противоположностей. Деспотия — и какой-то социализм (лучше бы, с точки зрения Леонтьева, взятый под опеку абсолютизма, «охранительный»); свобода — и рабство, высочайшая культура и «неграмотность». В статье «Грамотность и народность» (1870) Леонтьев объясняет некоторое своеобразие России и ее культуры тем, что простой великорусский народ еще в значительной степени безграмотен, не

<sup>28)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 147.

<sup>29)</sup> «Письма о восточных делах». 1882-83. Собр. соч., том 5, стр. 386-387.

приобщился к обезличенной средневропейской образованности.<sup>30)</sup>

«Гармония» — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно мирной солидарности, а есть лишь образ или отражение сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтобы составные части цельного исторического явления были изящны и могучи, — тогда будет и то, что называется высшей гармонией. Дóроги не вечный мир на земле, а искреннее примирение после страстной борьбы и глубокий отдых в мужественном ожидании новых препятствий и новых опасностей, закаляющих дух наш!»<sup>31)</sup> «Итак, какое дело... исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до депотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?»<sup>32)</sup>

<sup>30)</sup> Собр. соч., том 7, стр. 39. Сравни суждения о том же Бродера Христиансена (1908): «Образованность и культура — две противоположности»; «гетерономия — против автономии, подражательное переживание против самобытной оценки и творчества по собственному закону, связанность внешним авторитетом против свободной встречи родственных умов, — такова антиномия образованности и культуры». «Искусство творит для автономных умов, но гетерономные должны оплачивать расходы. Ведь образованность только средство, при помощи которого богатство укрепляет и выставляет напоказ свои социальные преимущества. Чтобы возвеличить себя, оно покровительствует искусству, собирает и сохраняет сокровища всех веков, которые в молчании пыльных зал ожидают тех, для кого они предназначены. Образованность — это хранилище художественной традиции даже во времена засухи в искусстве... Иногда пытались оправдать социальное неравенство, утверждая, что богатство — носитель культуры. Если хотят этим сказать, что богатые, по преимуществу, участвуют в создании культуры, то это грубое заблуждение. Самые оригинальные и мощные таланты выходят из бедняков или из среднего класса... Но с богатством в действительности связан псевдоинтерес: образованность. Ведь этот мнимый культурный интерес является для богатства средством подчеркнуть свои социальные преимущества. Поэтому оно поощряет искусство, материальное существование которого зависит от него. Только в этом смысле богатство — носитель культуры. И в этом смысле социальное неравенство неизбежно и оправдывается потребностями культуры: должен быть дан мотив для необходимого псевдоинтереса. Ведь в целом образование есть *contradictio in adjecto*. Если бы образование не было привилегией, его перестали бы домогаться, и вместе с ним исчезла бы культура». Но зависимость эта от образованности плохо отражается и на самой культуре: она начинает угасать: «поэтому-то всякий последовательный ряд художников показывает одну и ту же типическую кривую упадка... Во всяком развитии обнаруживается, что внимание и силы художников постепенно сосредоточиваются все более и более на трудностях сюжета, на технической утонченности и декоративности». Культура обезличивается, вынуждена рабски следовать за модой, и всякий внутренний, автономный смысл ее утрачивается. Бродер Христиансен. «Философия искусства». Изд. «Шиповник», СПб., стр. 38-40.

<sup>31)</sup> «Русские, греки и югославы». 1878. Дополн. 1885. Собр. соч., том 5, стр. 319.

<sup>32)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., том 5, стр. 199-200.



Таким образом, только и остается одно мерило для оценки жизни и истории: «единство в разнообразии, так называемая гармония, в сущности не исключаящая антитез и борьбы, и страданий, но даже требующая их». Опять вспоминается Достоевский: его черт в разговоре с Иваном Карамазовым утверждает, что он, черт, совершенно необходим для уничтожения скуки и однотонности всеобщей Осанны: без него — де, черта, и отдела происшествий в газетах не было бы: — чего бы не случилось, — Бог и дьявол, свет и тень, добро и зло — необходимые элементы гармонии, природной и эстетической. В замечательном письме к свящ. И. Фуделю Леонтьев предлагает следующую схему относительной применимости тех или иных критериев:

МИСТИКА (особенно положительные религии)	Критерий только для единоверцев. Ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански, и наоборот.
ЭТИКА И ПОЛИТИКА	Только для человека.
БИОЛОГИЯ (физиология человека, животных и растений, медицина и т. п.)	Для всего органического мира.
ФИЗИКА (т. е. химия, механика и т. д.)	} Для всего <sup>33)</sup>
ЭСТЕТИКА	

<sup>33)</sup> «Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни». Сергиев Посад, 1913.

В письме к В. В. Розанову от 13 августа 1891 года Леонтьев сомневается, что его исторический критерий будет принят как следует. Розанов задумал статью о Леонтьеве, и последний пишет по этому поводу:

«Вы хотите озаглавить вашу статью: 'Эстетическое воззрение на историю'... Опасаюсь, что очень немногие поймут слово «эстетика» так серьезно, как мы с вами его понимаем. Быть может, я ошибаюсь. Но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — 'избави Боже!'. Мне иногда даже кажется, что, по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства, круг эстетического понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (по-моему, конечно, ложно понимаемое большинством, т. е. понимаемое более с утилитарно-моральной, чем с мистико-догматической стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу... Я считаю эстетику мерилom наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Мерило положительной религии, например, приложимо только к самому себе (для спасения индивидуальной души моей за гробом, трансцендентальный эгоизм) и вообще к людям, исповедующим ту же религию. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мерилom к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян? Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во-первых, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую частью художники были развратны, а многие и жестоки); остаются «мирные земледельцы» да какие-нибудь кроткие и честные ученые. Даже некоторые святые, при-

знанные христианскими церквами, не вынесут чисто этической критики. Напр., св. Константин, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые... Это во-первых. А во-вторых, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего результата (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец; могу бить, могу даже изувечить раба, но воздерживаюсь от последнего, с большой победой над собой, хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовредительства, и бью, напр., за дело, за грубость, за подлость и т. д. Пример 2-й морали: не бью слугу вовсе, потому что боюсь мирового судьи. Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнилительная революция (смещение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении все совместно!.. И все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата... Все это так... Но увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей слова «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь» роняют практическую ценность мыслей. Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, десерта какого-то, без которого можно обойтись. Они не могут понять, что только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, где эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой силы. Вот что я хотел сказать».<sup>34)</sup>

Условимся в терминах: Леонтьев говорит все время об эстетике творческой, эстетике жизни и истории (развития), а не об эстетике отражений (эстетике искусства, также творческого) и тем более не об эстетике восприятия (эстетизм, как чисто пассивное наслаждение зрителя, читателя, слушателя произведениями художественной литературы, изобразительного искусства, театра, музыки; или природой, как объектом незаинтересованного эстетического любования). Эстетическое понимание истории и жизни находит у Леонтьева обоснование в его триединой формуле развития:

«Говорят беспрестанно: «Развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшего развития наших учреждений и т. д.»

Леонтьев протестует: вовсе не развитие:

«распространение, разлитие грамотности — дело другое... Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего,

<sup>34)</sup> «Русский Вестник», т. 285, 1903, стр. 415-418.

простого. Идея же развития собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, процессу как бы враждебному этому последнему процессу. Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

Постепенно восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством... Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую 'Нирвану'. При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров... Например, для небесного тела: а) период первоначальной простоты: расплавленное небесное тело, однообразное, жидкое; б) период средний, то состояние, которое можно назвать вообще цветущей сложностью: планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, пестрая; в) период вторичной простоты: остывшее и вновь, вследствие катастрофы, расплавленное тело и т. д. Мы замечаем то же и в истории искусства: а) период первоначальной простоты: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков..., избы русских крестьян, дорический орден, и т. д.; эпические песни первобытных племен; музыка диких; первоначальная иконопись, лубочные картины и т. д.; б) период цветущей сложности: Парфенон, храм Эфесской Дианы (в котором даже на колоннах были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, св. Петра, св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микель-Анджело и т. д.; в) период смещения, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль..., все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т. д. В архитектуре единство есть то, что зовут стилем. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет

ни эклектического смещения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии тоже: Софокл, Эсхил и Эврипид — все одного стиля; впоследствии все, с одной стороны, смешивается эклектически и холодно, понижается и падает. Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектическое (т. е. смешанное) и приниженное, количественно павшее, плоское. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несхожи между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер. В настоящее время, особливо после 48-го года, все смешаннее и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж-Занд во Франции (я говорю про старые ее вещи), как они ни различны друг от друга, но были оба последними представителями сложного единства, силы, богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку и пишущему, и читающему. Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное смешительное упрощение, следовавшее за теплой объективностью Гете, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Занда, больше ничего... В истории философии то же... Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты; 2) цветущей сложности и 3) вторичного смешительного упрощения».<sup>35)</sup>

Эстетика жизни и истории (развития) полностью совпадает с социальной физикой и онтологией («физикой» в схеме Леонтьева). Красота есть единство в цветущем многообразии, в сложности. Она — вершина расцвета. Она — форма. Она — кристаллизация.

«Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смысле? Материя, напр., данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где его уже нет, начинается воздух или жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своего полного цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом. Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет... Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно вещество должно, при известных условиях, оставаясь самим собою, кристаллизоваться призмами, другое — октаэдрами и т. п. Иначе они не смеют, иначе они гибнут,

<sup>35)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 188-189, 193-197.

разлагаются. Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна предустановлено иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. . . Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот должен рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и уверяют, что это очень рационально и научно! Да кто же сказал, что это правда?»<sup>36)</sup>

Совершенный и законченный детерминизм. Никакого проблеска свободы выбора. Все в жизни человеческой, в жизни нации, культуры, в жизни государства предустановлено, предопределено. Какой-то мусульманский «—смет». Самое большее, что можно сделать — это несколько задержать, «подморозить» процесс развития, продлить несправедливый, но прекрасный период цветущей сложности. Вот и все. . . Европейский же гуманизм, обездуховленный и обезбоженный индивидуализм — начало смерти индивидуальности, самости и самобытности. Не иронический господин «Подполья» Достоевского, до последних пределов дошедший в апофеозе личности и ее свободы: свободы «по всей своей глупой воле пожить», а апофеоз формы, как деспотизма, идеи, апофеоз силы государства и — еще выше — апофеоз Церкви, не как Целительницы и Освободительницы, а как властной организации, устрашающей загроб—им последним Судом: не любовь и свобода духа, а с т р а х Б о ж и й — и жажда спасения: трансценденталь—ий эгоизм. . .

«Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стон и страданий? Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному, независящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колесо или винт, и продукт общественного организма. На которое бы из государств древних и новых мы не взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие вначале, больше равенства и больше свободы (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), чем будет после. Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все довольно схожи, хотя и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти, более или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение со-

<sup>36)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 197-198.

словий, большее разнообразие быта и разнохарактерность областей. Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссея и Ахиллов... Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще стоящая на грани политической и бытовой... В то же время, по внутренней потребности единства, есть склонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и диктаны (в древне-эллиническом смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п... А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской... Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу... Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый: ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до тех пор, пока для чувства радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило... Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом... Поэтому, отстраняя мерило благоденствия, как недоступное..., гораздо ошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ?»<sup>37)</sup>

Эти зако—г Леонтьев и устанавливает: это — его «триединая формула развития». Для России период ее сложного цветения, ее эпоха «Возрождения» начинается в Петровское царствование.<sup>38)</sup> Русская идея (- форма, т. е. «деспотизм внутренней идеи») — византизм, т. е. привитый к русскому дичку (материи, славянству) благородный отросток — православное самодержавие. «Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию».<sup>39)</sup> Говорить, что Россию выручит ее относительная молодость, что Запад гибнет от дряхлости, а России еще жить да жить, — подлинная маниловщина:

<sup>37)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5. стр. 200-203.

<sup>38)</sup> Там же, стр. 119.

<sup>39)</sup> Там же, стр. 145.

«С чего бы мы ни начали считать нашу историю, с Рюрика ли (862), или с крещения Владимира (988), во всяком случае выйдет 1012 лет или 886.<sup>40)</sup> В первом случае мы несколько не моложе Европы; ибо и ее государственную историю надо считать с IX века. А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать. Не все государства прожили полное 1000-летие. Больше прожить трудно, меньше очень легко».<sup>41)</sup>

Социаль—ный, национальный, государственный организм подлечит тем же законам, как и организм индивидуаль—ный. Он рождается, расцветает, дряхлеет и умирает. Процесс дряхления, умирания многими прекраснодушными социологами и идео—гами принимается как раз за процесс прогрессивный, за процесс, несущий людям свободу, равенство и братство, царствие Божие на земле. Ведь в этом случае социалисты и коммунисты — те же хилясты. И они верят в наступление такой Осанны, когда уже «не—зя будет ни языка высунуть, ни ку—ша в кармане показать», — так все будет разумно и совершенно.

«Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п. — есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смещения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически (т. е. деспотически) свойственны общественному телу. Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, напр., холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.»<sup>42)</sup>

Обездуховленный и обезбоженный, секуляризованный индивидуализм, именуемый гуманизмом, неизбежно пр—одит европейскую государственность и культуру к вторичному смертельному упрощению, т. е. к смерти. Элементы, приводящие к смерти, содержатся в каждом явлении с момента появления его на свет Божий. В этом

<sup>40)</sup> Писано в 1874 г.

<sup>41)</sup> Там же, стр. 253.

<sup>42)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 198-199.



смысле рождение есть уже первый шаг к смерти. Нет ничего постоянно пребывающего. Все находится в процессе развития-расцвета-разложения.

«Цивилизация европейская сложилась из византийского христианства, германского рыцарства, эллинской эстетики и философии (к которым не раз прибегала Европа для освежения) и из римских муниципальных начал. Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало, городское (буржуазия), с прошлого века победило все остальное и исказило (или, если хотите, просто изменило) характер и христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма римского, и эллинских как художественных, так и философских преданий. Вместо христианских загробных верований и аскетизма, явился земной гуманный утилитаризм; вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, — заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время и отрадным и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть экономический и моральный утилитаризм. Аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, 'бесполезной (!) отвлеченной философией и вредной изысканностью высокого идеального искусства', эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или через посредство Рима времен Лукуллов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому и потому неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный, вредный для старого стиля. Личные права каждого, благоденствие всех (перерождение, демократизация германского индивидуализма и христианская личная доброта, обращенная в предупредительный безличный сухой утилитаризм) и здесь играют роль. 'И я имею те же права!' говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что 'quod licet Jovi, non licet bovi', — 'что идет Людовику XIV, то нейдет гамбетте и Руместану'». <sup>43)</sup>

Евро — давно пережила уже и практику гражданского политического смешения, и практику полного нивелирования национальных особенностей, особенностей отдельных областей и городских общин. Вся эта «феодал — я пестрота», напр., эпохи Ренессанса, привела к бесчисленным войнам, восстаниям, политическим интригам, закабалению целых сословий. Но каждая область, — ждкий город имел свой, ему только свойственный облик, и Сиенна, Пьемонт, Венеция, Флоренция, Рим, Калабрия, Милан, Феррара — не были только географическими наименованиями, а имели свои школы живописи, поэзии, музыки, свой стиль жизни и свою историческую физиономию, не сливающуюся в физиономию среднеитальянскую, в облик общегерманского (вернее, среднеевропейского) бур-

<sup>43)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 221-222.

жуа. Также — Париж, Лимож, Нормандия, Прованс, Лион — во Франции; тоже — по отношению к отдельным многочисленным государствам и городам Германии, Австрии. Каждый мелкий немецкий князь или ландграф старался обзавестись собственным университетом, собственной академией искусств и наук, собственным театром и собственной картинной галереей. Но этого мало: каждый властитель, каждый город культивировал свою особую школу или школку, и мы сейчас ясно различаем стили искусства малюго Кульмбаха, Авиньонскую школу, художников Вероны или Мантуи. Материально великая европейская культура не умирает еще:

«Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью наций. Она как продукт принадлежит государству; как пицца, как достоиние, она принадлежит всему миру... Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного. Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо-рабочую республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности? Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое всеевропейское государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть сколько-нибудь чтимых преданий, быть может... (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы. На розовой воде и сахаре не приготавливаются такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий».<sup>44)</sup>

И Леонтьев уверен, что, хотя европейская культура материяльно и переживет европейские государства, но социализм купно со «средним европейцем»-буржуа प्रदेशит Европу к созданию единого обезличенного всеевропейского государства, государства средних людей, одинаковых, фабричного массового выпуска. Европа —

«Не хочет больше морфологии! Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты».<sup>45)</sup> «Господство... среднего класса — есть тоже упрощение и смешение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого 'буржуа'... Хорош идеал!»<sup>46)</sup>

Царство этого среднего буржуа — начало полного упрощения и смешения, начало конца, неизбежного и неотвратимого. Леонтьев яро ненавидит этого либерального мещанина. Одну из своих талантливейших работ он называет так: «Средний европеец, как идеал и

<sup>44)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 250, 251.

<sup>45)</sup> «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 225.

<sup>46)</sup> Там же, стр. 235, 236.

орудие всемирного разрушения». «А жизнь видимо пошлет от прогресса», — вздыхает он время от времени в своей автобиографии «Моя литературная судьба». <sup>47)</sup> Это естественно. Вода в глубоких колодцах всегда вкусна и прохладна, утоляет жажду и дает наслаждение. Но разлейте воду отдельно — их одиноких колодцев по всей выгоревшей — льной степи — и в мелкое болото превратится живительная влага, не напитав, не утолив даже жажды потрескавшейся от засухи земли. Чем шире распространяется культура — тем более она плоска, скудна и немощна. И высокие романские башни монастырей, готический лес соборов и одинокие литературные вершины прошлого кажутся нам, в нашей иссохшей пустыне, чем-то совсем немислимым, мы удивляемся им — как они могли «состояться»?

А среднему человеку, наградившему нас, к слову сказать, уже в наши дни и фашизмом, и коммунизмом, и нацизмом, и движениями «человека улицы», — этому «среднему человеку» не нужно ничего:

«Кто же ему нужен? Ему для прогресса нужны агрономы... профессора, фабриканты, работники, механики и, наконец, художники и поэты... Прекрасно: понятно, что механик, агроном, ученый могут как сыр в масле кататься, обращая шар земной в одну скучную и шумную мастерскую... Но что делать поэту и художнику в этой мастерской?.. Они и без этого задыхаются больше и больше в современности. Не лучше ли сказать, что и они вовсе не нужны, что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать». <sup>48)</sup>

И поэта заставляют петь практически нужные оды среднему человеку, художнику заказывают лозунги, портреты и оформление ресторанов и газет... А наука? Образование и науку придется сдерживать, ибо — ука, пути сообщения, все убыстряющийся темп жизни и промышленности, всеобщее образование — все это бессмысленное уторопление жизни к смерти, вся эта сутолока — грозят самой физической жизни человечества. «Слишком шумно становится в мире!» — жаловался Достоевский. А Леонтьев спрашивал:

«Разве не может случиться, что именно дальнейший ход цивилизации приведет к тому, что наука государственная, философская, психология и политико-социальная практика признают необходимым поддерживать преднамеренно наибольшую неравномерность знания в обществе? Я полагаю, судя по разрушительному ходу современной истории, что именно высший разум принужден будет выступить, наконец, почти против всего того, что так популярно теперь, т. е. против равенства и свободы (другими словами, против смещения сословий, конечно), против всеобщей грамотности и против демократизация познаний. Вероятно даже против злоупотребления машинами и против разных прикладных изобретений, «балующихся», так сказать, весьма

<sup>47)</sup> «Литературное наследство», т. 22-24, Москва, 1935, стр. 436.

<sup>48)</sup> «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». Собр. соч., т. 6, стр. 6—7.

опасно со страшными и таинственными силами природы». <sup>49)</sup> В другом месте: «Господство средних людей, несомненно оживляя на короткое время уставшие общества, приводит, однако, очень скоро эти общества к гибели государственной и культурной. Это господство, усиливая кратковременную социальную динамику, нарушает очень скоро все условия, благоприятные социальной статике». <sup>50)</sup>

Уже в самом начале нашего века Христиансен издевался над идеей всеобщего образования: если образованность перестанет быть привилегией, — кто же станет к ней стремиться? А демократизация науки и искусства приводит к такому катастрофическому падению их уровня, что заставляет задуматься над вопросом — не следует ли вернуться к индивидуальному ученичеству Средних веков и Возрождения? Следует ли говорить о том, что машина уже съела личность, а некоторые изыскания сейчас являются строгой тайной государства, боящегося губительных последствий ряда открытий, и не только в области атомной физики. . . Но, главное, либеральный мещанин является всегда только предтечей социализма-коммунизма. Буржуазная демократия — только увертюра к коммунистической опере.

«Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это, как дважды два четыре, вот почему: эти грядущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, даже страшнее. В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших добросовестных монахов в строгих монастырях. . . А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем особые, утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих. . . Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: загробное блаженство. Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических обществ, этого мы не знаем». <sup>51)</sup>

Буржуазное общество своими идеями средневропейского инди-

<sup>49)</sup> «Средний европеец. . .», собр. соч., т. 6, стр. 13-14.

<sup>50)</sup> Собр. соч., том 7, стр. 536-537.

<sup>51)</sup> «Наши новые христиане». 1880. Собр. соч., т. 8, стр. 190-191.

видуализма, всемирного мирного государства, отделения церкви от государства, всеобщего образования, идеями свободы, равенства и братства само готов — социалистическую революцию.

«Социализм со всеми его разветвлениями есть не что иное, как вполне законное по логике происхождения детище тех прогрессивно-эвдемонических идей, тех верований в благо земное от равенства и свободы, которые Франция объявила в 89 году и которые в других странах Европы распространились без гильотины и без больших народных восстаний весьма разнообразными путями... Идея свободы (свободы от чего? Для чего? И во имя чего?), сказано давно уже многими, есть лишь понятие чисто отрицательное и значит, что личность, или нация, состоящая из лиц же, или какой-нибудь класс людей должен встречать как можно меньше препятствий и ограничений со стороны Церкви, государства, общества и семьи на жизненном пути своем. Но во имя чего, для какого идеала дается и требуется эта свобода? Тут ответ один — для блага, для большего удобства и счастья на земле». <sup>52)</sup>

Но что же это такое, счастье масс на земле? Кто определит — что является благом для всех и каждого? И возможно ли такое всеобщее благо?

Социалисты — верующие. Они свято веруют в свой незамысловатый катехизис — в наступление окончательного, заключительного периода, земного рая. Социалисты полны «упований на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия», <sup>53)</sup> но ведь нельзя утолить жажду морской водой, и притязания всегда растут быстрее их удовлетворения. Да и можно ли остановить процесс жизни, процесс развития?

«Что такое окончательное слово на земле? Окончательное слово может быть одно: — Конец всему на земле! Прекращение истории и жизни... Иначе почему же и в каком смысле окончательное? Ведь неподвижным и неизменным не может же стать человечество ни умом, ни вкусами, ни волей?» <sup>54)</sup>

А потом, стремясь к свободе — без веры в Бога и в высшие духовные ценности, без веры в долг и обязанность человека к Пославшему его в мир, — коммунисты и социалисты неизбежно приходят к сугубому рабству, к новому расслоению общества на классы, даже на наследственные сословия, к деспотизму верховной власти. Без этого деспотического управления, без этих коммунистических сословных верхов коммунизм-социализм существовать не может: и тут действует тот же принцип аморфной материи (массы, народа) и организующей ее, «не дающей разбежаться», формы (строго со-

<sup>52)</sup> «Письма о восточных делах». Дополн. 1885. Собр. соч., т. 5, стр. 453.

<sup>53)</sup> «Племенная политика, как орудие всемирной революции». Собр. соч., т. 6, стр. 179.

<sup>54)</sup> «Епископ Никанор о вреде железных дорог»... 1885. Собр. соч., т. 7 стр. 483.

словная деспотия). Об этом говорил устами Шигалева Достоевский. Об этом свидетельствовал Леонтьев:

«Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен) своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм, уже вовсе недалекого будущего, разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении романо-германского рыцарства и общественного строя... а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой (обособленности) классов и групп, в смысле разнообразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-нибудь центре духовном или государственном: в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим, или чем-нибудь облагороженным (так, напр., как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям)». <sup>55)</sup>

И Леонтьев называет социализм «реакционной организацией будущего».

Спасется ли Россия? Едва ли, — отвечает Леонтьев. Он не верит в природную стойкость русской семьи, ни в творческие силы русского народа. Славяне — аморфны по самой природе своей. Лишь сильная государственность и православие — византизм — могут задержать, «подморозив», процесс эгалитарного прогресса, — замедлить приход всегда неизбежной смерти.

«Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью, и подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовывать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет? Вот в чем дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешавши всех и вся, написать последнее 'мене-текел-фарес!' на здании всемирного государства... Окончить историю, погубив человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной... Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет» <sup>56)</sup>

В статье «Над могилой Пазухина» (1891) еще более мрачные

<sup>55)</sup> «Средний европеец...». Собр. соч., т. 6, стр. 61, 62.

<sup>56)</sup> «Средний европеец...». Собр. соч., т. 6, стр. 47-48.

предчувствия одолевают Леонтьева. Уже не социальная гибель, а гибель духовная:

«Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения общества, без всех возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению распатанного сословного строя нашего, — русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмещения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, и мы, неожиданно, лет через сто каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо-церковных, — родим. антихриста...»<sup>57)</sup>

Исхода нет. Все предопределено, все детерминировано. Сама эстетика ушла целиком в эстетизм, в чисто пассивное «лакомствование». Сама литература развратилась, само искусство растлило человечество. Красота ушла из жизни и истории на книжные полки, на подмостки театров, на музыкальную эстраду. А в жизни ее больше нет. По крайней мере в Европе. Сам Леонтьев бежит на Восток — там живет еще живая красота, красота жизни, эстетика истории. О литературе Леонтьев такого же мнения: нужна красивая жизнь, а не блестящая литература. Нужна эстетика жизни, а не эстетика отражений. А гипертрофия эстетизма ведет к расслаблению людей, к их обезволиванию: привыкнув к пассивному переживанию радостей и страданий, к их созерцанию на сцене, к чтению о них в книгах, люди утрачивают интерес к самой жизни.

«Около года тому назад я начал печатать... под заглавием: 'Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой', мои размышления о том, который из них должен быть для России дороже: сам творец или создание его гения, столь реальное и правдоподобное? Великий ли романист, или воин, энергический, образованный и твердый, видимо способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела?... В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты, и тем более, чем эти вечные 'искатели', вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие... О романистах я сказал так прямо: 'Без этих Толстых, т. е. без великих писателей-художников, можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека'... Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет».<sup>58)</sup>

Самоцельная, самодоволеющая, в себе самой усматривающая цель деятельность — игра, а не творчество (цель которого всегда лежит вне процесса самой деятельности), — это не только пассивное восприятие образов искусства. Эстетизируется сама религия. Представление о христианстве у Леонтьева достаточно жесткое. Не религия

<sup>57)</sup> Собр. соч., том 7, стр. 425.

<sup>58)</sup> «Анализ, стиль и веяние». 1891. Собр. соч., т. 8, стр. 219-220.

любви, а религия страха Божия, страха грядущего возмездия и жажды личного спасения. «Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть страх, а любовь — только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом». <sup>59)</sup> Но и религиозное сознание разлагается:

«В религии что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интенсивность. Там, где утрачивается простота первобытная, необходима интенсивность романтических чувств; нужны страдания не простые, не грубые страдания, которые бывают везде, а страдания, которые ищут исхода лишь в идеальном мире и в идеальных чувствах». <sup>60)</sup>

И сам Леонтьев думает оправдать как-то эту подмену суровой простоты религии «изящными воспоминаниями о семье и церкви», но борется, искренне и горячо, против церковного эстетизма, и кончает постригом. . .

Слабое место концепции Леонтьева — рошно подметил И. С. Аксаков: это — детерминизм, это — выключение всякой свободы выбора. В автобиографии «Моя литературная судьба» Леонтьев передает обрывок своего спора с Иваном Аксаковым:

«... — Потом, — продолжал Иван Сергеевич, — вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Вы — Иеремия, плачущий над развалинами... — А разве Иеремия не писал? — спросил я. Аксаков никак не ожидал этого соображения и замолк вдруг; он забыл, что Иеремия писал». <sup>61)</sup>

Ответ, конечно, остроумный. Но он не является ответом по существу. Ибо сам Леонтьев писал о «плотной и отвратимой гибели»: «Верно только одно... одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?» <sup>62)</sup> Но если так, то и проповедь Леонтьева — только игра ума, самоцельная и ничего останавливающая. . . Впрочем, остается одно утешение: заключающийся размышления Леонтьева его «оптимистический пессимизм»:

«Итак, испытавши все возможное, даже и горечь социалистического устройства, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; . . . наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, пессимистический... характер. И вот где ее примирение с положительной религией, вот где ее творческий триумф: в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры». <sup>63)</sup>

<sup>59)</sup> «Наши новые христиане». Дополн. 1885. Собр. соч., т. 8, стр. 183.

<sup>60)</sup> «Русские, греки и югославяне». 1878. Собр. соч., т. 5, стр. 299.

<sup>61)</sup> «Литературное наследство», т. 22—24, Москва, 1935. стр. 456.

<sup>62)</sup> «Наши новые христиане». Собр. соч., том 8, стр. 189.

<sup>63)</sup> Тоже, Собр. соч., том 8, стр. 191.



И еще одно внутреннее, душевное противоречие: критерий самой верховной оценки, самой высшей духовной силы — религия — наименее широк и наименее объемлющ. Самый широкий, самый объемлющий критерий — физика (онтология-феноменология) и эстетика — обречен гибели, да и нередко находится в противоречии с христианской практикой и даже догмой. Завершение одного из самых глубоких писем Леонтьева — его письма к В. В. Розанову от 13 августа 1891 года, — трагично:

«В заключение дерзну прибавить несколько 'безумных' моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человека, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделяваясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

И Церковь говорит: 'конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде'.

Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетике, из трансцендентального эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике». <sup>64)</sup>

Розанов сделает решительный шаг: он выберет эстетику жизни, жизни цветущей и плодоносящей, и отвернется не только от прогресса и литературности, но и от «Иисуса Сладчайшего» во имя «горьких плодов мира сего». Он отвергнет «Темный Лик» христианства. Он блестяще — по-своему — определит и эстетику Леонтьева:

«...Его 'эстетизм' был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на антисмертности, или, пожалуй на бессмертии красоты, прекрасного, прекрасных форм. В 'эстетику' он 'открывал форточку' из анатомического театра своих прустных до черноты политических и художественных наблюдений, соображений». <sup>65)</sup>

Сам Леонтьев тоже сделал выбор: он стал полумонахом при монастыре, а перед смертью постригся в монахи. Но смирился ли он? О, нет! До конца он сомневался, как мы видели, в правильности своего выбора.

<sup>64)</sup> «Русский Вестник», т. 285, 1903, стр. 418-419.

<sup>65)</sup> Там же, т. 284, 1903, стр. 637.

Есть неудачники, сыгравшие значительно большую роль, чем благополучные литературные преуспеватели. Есть трагические крушения, которые предпочитаешь победам. Леонтьев шел смело до конца. Он не боялся ни крайних выводов, — а редко кто не боится выводов из своих собственных положений! — ни внутренних противоречий, ни отрицания дела всей своей жизни. Жизнь во всем ее многообразии не вместить в узкие пределы любой системы. В каждой системе взглядов должна быть допущена искусственность, должна быть допущена внутренняя фальшь. Нужно отказаться от какой-то правды, чтобы построить законченную систему. Леонтьев не видит правды всецелой. Он — человек, одержимый всю жизнь одной идеей. Но он видит и все ее противоречия, он, христианин и ученик оптинских старцев, отказывается от единой мысли, которой посвятил всю свою жизнь. Отказывается — потому, что признает мысль свою ошибочной: о, нет! Он отказывается только от единоборства с Богом. Но горделиво добавляет, что он все-таки прав...

Есть много даровитых писателей и немало интересных мыслителей. Но не так много среди них по-настоящему и по-своему умных людей. Людей острой и своеобразной мысли. Ведь мысль — вещь едкая и обжигающая. И сколько мыслителей нашего «философского ренессанса» уклонялось от строгой логики, подменяя доказательство своих положений поэтическими образами и аналогиями. При всей художественной конкретности своего мышления Леонтьев ни разу не уклоняется от чисто логического доказательства своих положений. Он — эмпирик, естественник. У Леонтьева органическое отвращение — всякой морали, как элементу социологии и истософии. Он, как никто другой, совлекает — речевые покровы общественных предрассуждений с голых остовов социальных постулатов: свободы, равенства братства, социального здравого смысла. Он заставляет серьезно пересмотреть заржавевшее оружие социальной морали. Он заставляет перетряхнуть побитую молью аргументацию либерализма и либерального рационализма. Он многое предвидел, многое понял до конца.

Леонтьев звучит так современно, что при изложении его взглядов можно оркестровать его мысль слишком модернистски. Поэтому лучше всего послушать его собственный голос. И задача настоящей статьи была скромной: заставить самого Леонтьева рассказать об эстетике жизни и истории. Извлечь — его статей, книг, заметок, всегда почти — писанных по поводу злободневных вопросов его времени то, что не является злободневным, то, что нас волнует сегодня и будет волновать завтра. Односторонний яркий ум, он до конца пошел за своей большой, но отнюдь не всецелой истиной. Но

в наш век — век сильно стершихся и на один лад сформованных «средних людей», — хорошо соприкоснуться хотя бы изредка с великим врагом и ненавистником среднего, шаблонного, обескультуренного машиной и бытом человека. С тем, кто видит вечную красоту и развитие мира и культуры — в их внутреннем богатстве, многообразии, в их сложности и многогранности. Средний человек обездушивает великую когда-то культуру Евразии. И жесткий холодный ум и горячий темперамент Леонтьева дав — уже определили и место, и значение, и судьбу этого среднего европейца.

А как писатель, Леонтьев, стремившийся вырваться из рамки, обычной для всех русских литераторов:

Т	Г	О	Г	О	Л	Ь	Д
У							О
Р							С
Г							Т
Е							О
Н							Е
Е							В
							С
							К
							И
В	Т	О	Л	С	Т	О	Й

хотевший «разбить и сломать эту рамку», желавший «хотя бы на время свергнуть иго Гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог», — писатель Леонтьев не вполне успешно, преждевременно, но — гается разрешить те задачи, которые станут перед русской литературой наших дней. Разрушение привычных повествовательных форм путем превращения романа и повести в почти неприкрытый и совершенно обнаженный (в «Египетском голубе», например) дневник; сближение жанров высокой публицистики, очерка, повести, романа — с частно-эпистолярным; непривычная в то время манера чередования почти натуралистической научной прозы с вкрапленными в нее диалогами и небольшими жанровыми сценками — и откровенно личных переживаний. И все время стремление возможно полнее отвоплотиться — наряду с признанием невозможности такого отвоплощения. . .

Леонтьев — герой скорее нашего времени, чем своей эпохи. Но и в наше время он все еще — слишком чудак, слишком много «бьет стекол», по выражению Толстого. Но он таков, и кто хочет полюбить его — тот должен полюбить его со всеми его грехами и взлетами, падениями и прозрениями.

# „МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА“

## АВТОБИОГРАФИЯ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

Вступительная статья Н. Мещерякова

Комментарии С. Дурылина

### У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОЙ РЕАКЦИИ

Если бы надо было назвать реакционнейшего из всех русских писателей второй половины XIX столетия, то вряд ли можно было бы найти кого-нибудь, кто смог бы оспаривать это место у Константина Николаевича Леонтьева. К. Леонтьев сотрудничал в «Русском Вестнике» 70-х годов, выходявшем под редакцией одного из крупнейших реакционеров того времени — М. Н. Каткова. Но и Катков отказывался иногда печатать статьи К. Леонтьева; отказ от одной из них он мотивировал словами, что этак можно «договориться до чертиков». С другой стороны, К. Леонтьев считал Каткова «слишком умеренным, оппортунистом и обвинял его и его соратника из «Русского Вестника» проф. Любимова в «умеренно прогрессивной, умеренно либеральной дряблости». «Некоторые его мнения (слишком европейские по стилю), — писал Леонтьев, — мне ненавистны и сильно раздражают меня». Катков, по мнению Леонтьева, стал «как-то сер». «Направление — чем дальше, тем серее», — говорит Леонтьев в своей «Автобиографии». Такие же резкие отзывы мы находим в «Автобиографии» Леонтьева о других реакционных соратниках Каткова — о Любимове, Страхове, Аверкиеве, Авсеенко и др. Но вместе с тем он почитал силу Каткова как реального политика реакции и признавал, что «Каткова и «Русский Вестник» просто заменить нечем».

К. Леонтьев, стоявший на крайнем фланге реакции, в свое время, т. е. тогда, когда он писал, не имел значительного влияния. У него было сравнительно немного сторонников; вместе с тем, его писания приобретают определенный интерес в настоящее время. Мы можем наблюдать и изучать по ним прообраз тех идей, которые мы находим у некоторых современных писателей, не только у тех, которые в прошлом были черносотенцами, но и у тех, которые еще недавно пребывали в либеральном лагере, например у так называемых «евразийцев», у М. О. Гершензона. Их можно найти даже, пожалуй, у немецких фашистов.

К. Н. Леонтьев родился в 1831 г. в семье калужских помещиков. Окончив курс медицинского факультета в Московском университете, он стал врачом. В качестве такового он участвовал в Крымской войне, а потом служил врачом же в Нижегородской губернии. Еще с 50-х годов он начал помещать в журналах («Отечественные Записки» — редакции А. Краевского и «Русский Вестник») свои беллетристические произведения, которые в свое время имели некоторый успех (в особенности рассказы из жизни христиан в Турции), но в настоящее время они бесспорно забыты. Падение крепостного права произвело на Леонтьева потрясающее впечатление, еще более усилившееся с началом развития демократически-революционного движения, и после польского восстания 1863 г. Леонтьев остро и чутко подметил и понял надвигающуюся угрозу революции, которая

должна подорвать власть и богатство поместного дворянства — класса, к которому он принадлежал. Он понял, что надвигающаяся революция — не плод деятельности отдельных революционеров, а что она неизбежно вытекает из всего хода общественного развития, из вступления России на путь капиталистического развития, что уже вполне ясно обозначилось в 60-х годах. В этом К. Леонтьев был неизмеримо проницательнее всех других реакционеров, например Каткова и поздних славянофилов, которые, ставя своей главной задачей защиту интересов и привилегий дворянства, в то же время усиленно работали над развитием в России капитализма, надеясь создать этим путем вторую опору самодержавия и «порядка» и союзника дворянству в лице черносотенного купечества. К. Леонтьев ясно видел, что Россия неуклонно идет по пути капиталистического развития, хотя и под реакционным флагом, и что при этом все более создаются условия, которые приведут к революции и к тому, что дворянство лишится всех своих привилегий. «Лишь бы этот зеленый уголок мой был цел, лишь бы не брали у меня эти липовые аллеи, эти березовые рощи, эти столетние огромные вязы над прудом», — писал он.

В 1863 г. Леонтьев поступил на службу по министерству иностранных дел и в течение десяти лет занимал места консула в ряде городов Турции (на Крите, в Адрианополе, в Эпире, Салониках и т. д.). Разойдясь во взглядах на восточный вопрос с министерством иностранных дел, находившимся под сильным влиянием славянофилов (министерство в борьбе греческой и болгарской церкви поддерживало болгар, желая найти в них, как в славянах, опору для своей захватнической политики, а Леонтьев рекомендовал поддержку греков, ибо видел все спасение старой России в византизме). Леонтьев вышел в отставку и уехал на Афон. Там он прожил год и пытался стать монахом в одном из афонских монастырей, но практичные монахи, боясь сделать неугодное русскому правительству, а с другой стороны, может быть, не доверяя христианству Леонтьева, отказались принять его.

В 1874 г. Леонтьев вернулся в Россию и жил большей частью у себя в деревне, а также наезжая в Москву, в которой ему, однако, не удавалось прочно устроиться на работу; он сотрудничал в «Русском Вестнике» Каткова и в еще более реакционном «Гражданине» кн. Мещерского. В 1880 г. он был назначен помощником редактора реакционной русской газеты в Варшаве — «Варшавский Дневник». Позже он получил место цензора в Москве. В 1887 г. он снова вышел в отставку, поселился в известном монастыре «Оптина Пустынь» и постригся в монахи под именем Климента. Умер в 1891 г.

К. Леонтьев создал свою теорию развития человеческого общества, теорию совершенно неоригинальную, ибо он попросту переносил на развитие общества те стадии, по которым происходит развитие живого организма. Общество, по его мнению, проходит в своем развитии три ступени:

- 1) стадия «первоначальной простоты», соответствующая детству;
- 2) стадия «положительного расчленения», или «цветущей сложности», эта стадия характеризуется величайшим неравенством, величайшим разнообразием частей, сдерживаемых силой деспотизма. Она соответствует возмужалости человека;
- 3) стадия «вторичного смесительного упрощения», соответствующая старости и дряхлости, разложению организма.

Теория Леонтьева фаталистична. Этот путь развития общества неизбежен; всякий народ должен пройти его. Германцы в эпоху переселения народов пережили первую ступень. Средние века в истории Европы — вторая ступень, ступень «цветущего расчленения», а со времени Французской революции началась для Западной Европы третья ступень, — глубоко ненавистная для К. Леонтьева.

Россия, которая стояла в стороне от европейской жизни и находилась под сильным влиянием византизма, застыла в своем развитии и поэтому не вступила еще в гибельную стадию «сместительного упрощения», но сближение с Западной Европой и внедрение в России буржуазных отношений увлекают Россию на эту



**К. Н. ЛЕОНТЬЕВ — СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Акварель неизвестного художника

Государственный Литературный Музей, Москва

стадию. Чтобы спасти Россию, надо остановить ее развитие, «подморозить» ее, как выражался Леонтьев. История Византии показала пример такого законсервирования, «подморожения»: благодаря своей религии и построенному на деспотизме строю жизни Византия в течение нескольких столетий оставалась неизменной. Поэтому и для «подморожения» России надо было, по мнению Леонтьева, прибегнуть к этому же испытанному средству.

Многие считали Константина Леонтьева славянофилом, хотя и разочарованным. Но это мнение ошибочно. Леонтьев не верил в славянство как самобытную расу, которая создаст свою особую культуру. Он видел, что западные славяне (в особенности чехи) уже целиком вступили на путь буржуазного развития и перешли на ступень «смесительного упрощения». Поэтому он — противник идеи объединения всего славянства. «Есть славяне, но нет славизма», — говорил он. Если осуществить планы славянофилов и объединить вокруг России все славянство, то, по мнению Леонтьева, этим в ней будут страшно усилены элементы западноевропейской буржуазности, ибо «все юго-западные славяне без исключения демократы и конституционалисты». Это объединение таким образом ослабит у нас элементы византизма, которые «проникают насквозь весь великорусский общественный организм». «Образование одного сплошного и всеславянского государства было бы началом падения царства русского», — писал Леонтьев.

«Я убедился и узрел своими очами, — пишет Леонтьев в своей «Автобиографии» о славянофилах, — что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное, серое, буржуазное либеральничанье». Тем не менее Леонтьев пытался печататься через славянофилов, но и они отказались от сотрудничества с ним.

Спасение России К. Леонтьев видел в сохранении и усилении в ее жизни элементов византизма, понимая под этим словом совокупность всех принудительных начал в обществе. Византизм помог Византии просуществовать несколько столетий, после того как Рим пал под ударами германцев. «Византизм дал нам силу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и Турцией, — писал Леонтьев. — Под его знаменем, если мы будем верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушив у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблагенстве и земной радикальной всепошлости».

В самой России Леонтьев не видел силы, которая могла бы остановить ее на пути буржуазного развития. «Я, признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в своей отчизне, — писал он, — и вижу, напротив, какую-то дряхлость ума и сердца не столько в отдельных людях, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела... боюсь сказать, что нужно... Быть может, целый период внешних войн и кровопролитий, вроде тридцатилетней войны или, по крайней мере, эпохи Наполеона I. Надо приостановить надолго эту разгорающуюся внутреннюю практическую лихорадку». Но тридцатилетняя война не спасла Германию от «практической лихорадки», то есть вступления на путь буржуазного развития, не спасли и Францию войны Наполеона I.

Внутри России Леонтьев хочет опереться прежде всего на православную церковь, которую мы взяли из Византии, и он требует «смирения перед той церковью, которую советует любить г. Победоносцев».

К. Леонтьев — враг всякого прогресса; он выступает в защиту всякой отсталости. «В России много еще того, что зовут варварством, и это наше счастье, а не горе», — писал он. Поэтому К. Леонтьев не стеснялся печатно говорить, что он противник всякого народного просвещения, что крестьянство должно остаться в том невежестве, которое делает его послушным перед властями. Всякое новое открытие, всякое изобретение новой машины приводит его в ужас, ибо он понимал, что за этими открытиями техники надвигается победа социализма, неизбежная и неотвратимая. К. Леонтьев выступал против грамотности, против тех-

ники, против всего, что называется цивилизацией. «Я рад всему тому, что хоть чем-нибудь отделяет нас от современной Европы»,—писал он.

Все писания К. Леонтьева проникнуты ощущением глубокого страха перед торжеством в будущем ненавистного ему социализма, тем более, что в конце концов Леонтьев не видит никакой действительной силы против этого торжества. «Всякая реакция есть течение не радикальное, — пишет он, — а лишь временная поддержка организма, чем-нибудь неизлечимо расстроенного». «Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение». «У Вас ваш процесс развития и «вторичного упрощения» есть процесс фаталистический, неизбежный. Поэтому о чем же хлопотать?»—говорил ему И. Аксаков.

И в то же время К. Леонтьев пытается убедить своих читателей, что нельзя верить в торжество социализма, но никаких доказательств невозможности его победы он привести не может. Он ограничивается одними словами, выражающими его веру: «Глупо так слепо верить, как верит нынче большинство людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле, в помещичий и рабочий строй и безличный земной рай, освещенный электрическими солнцами и разговаривающий посредством телефонов от Камчатки до мыса Доброй Надежды... Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь как счастье человечества даже приблизительно». «Благоденствие земное — вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле — вздор».

Но Леонтьев ненавидел не все, существующее на Западе. Он с большой любовью относился к аристократическим и реакционным институтам и явлениям западноевропейской жизни — к папству, католицизму, к остаткам феодализма, к монархии и аристократии Европы. «Один породистый остзейский барон сам по себе стоит сотни эстского и латышского разночинства»,—писал он.

Для того, чтобы «подморозить» Россию, т. е. задержать процесс ее развития, Леонтьев думал опереться на византизм, перенести после победы над Турцией центр России в Константинополь — древнюю Византию, которая впрочем по его мысли не должна входить в состав России, а принадлежать лично царю. Но если этой силы окажется недостаточно, он предлагал опереться на различные азиатские народности, которые не вступили еще на путь буржуазного развития. «Не только староверы и паписты, но и буддисты, астраханские мусульмане и скопцы дороже нам русских либералов»,—писал он. «Для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и охранять слепо все греко-византийское». «Союз, сближение, смещение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь особое, органическое под их воздействием, хотя бы и косвенным»,—вот что рекомендовал К. Леонтьев.

А внутри страны Леонтьев возлагал всю свою надежду, надежду отчаяния, на хорошо организованную полицию, на физическое насилие, к которому питал какую-то извращенную страсть. У К. Леонтьева «сладострастный культ палки», — говорил о нем Иван Аксаков.

Все эти мысли и надежды К. Леонтьева настолько дико, настолько уже опровергнуты ходом общественной и политической жизни, что нет надобности опровергать их. И тем не менее очень многие из этих мыслей, несмотря на их нелепость и дикость, возрождаются в настоящее время в идеологии различных партий и группировок, проникнутых тем же страхом перед близким и неотвратимым торжеством пролетарской революции, каким был проникнут насквозь К. Леонтьев.

К. Леонтьев ненавидел западноевропейскую культуру и цивилизацию, ибо боялся, что она неизбежно приведет к социализму. Теперь, когда пролетарская революция победила в СССР и когда ее близкая победа ясна во всем мире, такой же страх перед культурой и цивилизацией испытывают очень многие, которые еще недавно находились в рядах не только реакционных, но и либеральных партий и группировок. Вот, например, что писал в 1920 г. М. О. Гершензон в книжке «Переписка из двух углов»:



«В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство достижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мне мутило душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется, какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, помня из прошлого только одно — как было тяжело и душно в этих одеждах и как легко без них». Разница между Леонтьевым и Гершензоном только одна: Леонтьев хотел вернуться ко второй ступени развития — к средним векам, когда была все же какая-нибудь культура, а Гершензон мечтал о первой ступени, о человечестве без всякой культуры, ибо Гершензон был еще более испуган.

Но и Гершензон был согласен примириться на средних веках и он видел «цветущее время» в этом мире мракобесия. «Почему же было так ярко чувство, почему мысль была так свежа (!) и слово существенно в четырнадцатом веке и почему наши мысли и чувства так бледны, наша речь словно заткана паутиной?» — пишет он далее в упомянутой книжке.

К. Леонтьев придавал решающее значение в жизни общества религии. При помощи религии он хотел остановить ход общественного развития. То же повторял в «Переписке из двух углов» и Гершензон: «Без веры в бога человечество не обретет утерянной свежести».

К. Леонтьев мечтал найти барьер против надвигающейся западноевропейской цивилизации в опоре на «астраханских мусульман», на «тибетцев» и другие народы Северной и Центральной Азии, еще не вступившие в стадию капиталистического развития. Но о том же мечтала и контрреволюционная группа русских эмигрантов — «евразийцев», которые писали о какой-то самобытной консервативной культуре, которую создадут народы Евразии, которые почему-то, по их мнению, всегда должны остаться чуждыми западноевропейской культуре.

К. Леонтьев был полон страха и ненависти по отношению ко всякому прогрессу, ко всякому движению культуры вперед. Но этот же страх и эта ненависть проникают всю философию Шпенглера, Кайзерлинга, Пауля Эрнста и других «философов» и «социологов» современного фашизма. Только они еще более решительно — не только словом, но и делом — борются против этой культуры во имя возврата средневековья.

Страх перед неуклонно надвигающейся революцией диктовал К. Леонтьеву и диктует теперь фашистам одинаковые или очень сходные мысли и настроения. Изучение первоначального зарождения этих мыслей и настроений у К. Леонтьева и их развитие у тех, кто в качестве либерала выступал прежде против безумных идей Леонтьева, представляет интересную задачу для изучения истории не только реакционной, но и либеральной мысли.

Н. Мещеряков

## МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА

Ars Longua, Vita Brevis!

ПРИЕЗД В МОСКВУ И ПОСТУПЛЕНИЕ В УГРЕШСКУЮ ОБИТЕЛЬ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДРУЗЬЯМ И ПОРУЧАЕТСЯ С. П. ХИТРОВОЙ

1874—1875 года

## 1

Из Калуги, по окончании всех дел по имению <sup>1</sup> мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, отсюда по железной дороге до Москвы. Сначала я занял порядочный номер в Лоскутной гостинице Мамонтова. Первое мое посещение было опять Иверской божьей матери <sup>2</sup>. Я просил (конечно!) о продлении моей земной жизни и о том, чтобы в делах литературных мне суждено было, наконец, узреть правду себе на земле живых. Я надеялся и не унывал, но до сих пор, как оказалось, напрасно. Мне опять пришлось видеть искреннее сочувствие и слышать самые лестные похвалы от одних людей и самую странную несправедливость, самое убийственное равнодушие от других, именно от тех, кто мог что-нибудь сделать.

Со мной была первая и совсем исправленная часть книги «Византизм и Славянство» <sup>3</sup>, которую я собирался отдать на прочтение Погодину <sup>4</sup> и другим славянофилам. Были еще с весны взятые мной у княгини Анны Матвеевны Голицыной рекомендательные письма к княг. Трубецкой и кн. Черкасскому <sup>5</sup>. Еще были у меня отрывки из второй части Византизма, которая еще неисправленная лежала у Каткова, и начало второй части Одиссея <sup>6</sup>, которую я почти насильно принуждал себя писать, гостя в августе в Оптиной Пустыни <sup>7</sup>. Такой обширный, объективный труд требовал большого досуга воображению; нужно в таком произведении, чтобы оно вышло недурно, обдумывать беспрестанно все, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их, сообразуясь с местностью и другими возможностями. Героя я выбрал неудобного: красивого и умного юношу, Загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается тут не русское; надо большими усилиями воображения и мысли переноситься в душу такого юноши, становить себя беспрестанно на его место, на котором я никогда не был. Русские люди являются тут уже совсем объективно: в числе других лиц разных наций и вер. Не надо чрезмерной идеализацией русских внушать к себе недоверие; а вместе с тем самая правда жизни, сам реализм (хорошо понятый) требует давным-давно (с самых времен Онегина и Печорина) возврата к лицам более изящным или более героическим. Сам Тургенев насилу-насилу доработался до Лаврецкого и до блестящего отца в «Первой любви». Гр. Л. Толстой насилу-насилу решился создать Андрея Болконского. До того всех опутала тина отрицания и гоголевщина внешнего приема.

К тому же разнообразных лиц—турок, греков, европейцев в Одиссее много. Понятно, сколько уместной свободой, сколько досуга воображения надо напр., чтобы, с одной стороны, сократить до размера других лиц консула Благова, который как бы составлен из Ионина, Хитрова и разумеется меня самого <sup>8</sup>, а с другой, расширить и отделить друг от друга мусульман, действующих в романе. Мы так мало знакомы с мусульманами, нам так трудно узнать живые черты их домашнего быта, их всех так легко можно сделать на одно лицо, что изображение их требует

несравненно большего внимания, чем изображение греков, которые хотя весьма несхожи с нами психологически, но имеют с нами так много общего в историческом воспитании, в религиозных ощущениях и т. д.

А молодого русского консула — светского человека и художника по натуре, которого многие любят в книге и которого я сам люблю — изобразить трудно по противоположной причине: слишком легко впасть в безличную идеализацию своих собственных хороших чувств, приятных воспоминаний, и даже некоторых из тех хороших свойств, которые автор знал и сознавал в самом себе.

Я вовсе не хочу нападать на несколько безличную и возвышенно бледную идеализацию; напротив того, она пожалуй и есть художественный идеал мой, по естественной реакции против гадкой и грубо осязательной мелочности, в которую впадает большинство лучших писателей нашего времени (особенно англичане и русские, французы теперь лучше). Но... Мадонна, почти иконописно идеализированная хоть бы кистью Ingres'a<sup>9</sup>, была бы вовсе не на месте на хорошей реалистической картине Ге<sup>10</sup>. Ее надо изобразить особо, на другом полотне. Вот это все надо обдумать, обсудить, схватить и поскорее написать... Надо, чтобы роман был бы хоть сносен в моих собственных глазах прежде всего («Ты сам свой высший суд»). Больше я от Одиссея и не требую; это не «Генерал Матвеев», которого я обожаю и которого хотел бы довести до высшей степени совершенства<sup>11</sup>.

Одиссей вовсе не любимый сын мой; я вижу в его манере очень много обыкновенного, но я хочу, чтобы и он держал себя в обществе, по крайней мере, прилично. Нельзя чтобы мой сын был просто слит из газетных известий и т. п., как антипольские романы Крестовского<sup>12</sup>, или подслуживался бы только Катковской умеренной морализации, как напрасно и неудачно поднятый «Вопрос» г. Маркевича (я говорю так потому, что именно те лица, которые Маркевич хотел более осудить — мать и гвардеец, вышли милее и понятнее других, особенно этого уродо-сына).

Вот почему я говорю, что мне Одиссея кончать трудно. Надо много мыслить, а я утомлен нестерпимо и мне хочется только думать. А если уже мыслить, то над чем-нибудь более решительным, над «Прогрессом и Развитием» и т. п., а не над жизнью маленького Эпира, сколько бы в ней ни было грации и оригинальности.

Итак я в Оптиной едва-едва мог написать две главы, как неотложные по имению дела уже вызвали меня в Калугу.

В гадкой редакции на Страстном Бульваре<sup>13</sup> что-то переделывали, и Катков в это время (в конце сентября? в начале октября?) был в своем Михайловском дворце<sup>14</sup>. В редакции секретари мне сказали, что вторую часть «Византизма» он взял с собой и читает ее.

Я был в этом дворце еще летом и горбатый Леонтьев<sup>15</sup> угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем.

У меня сердце (художественное сердце) разрывается, когда я смотрю на это жилище, заселенное теперь Катковым и Леонтьевым! (Хотя последнего я и люблю до известной степени).

Я не знаток декоративной археологии, и никак не могу вспомнить, в каком старинном вкусе отделан этот маленький дворец (или скорее прекрасный барский дом) во вкусе реставрации, госо- или Pompadour — не знаю. Но знаю, что глаз отдыхает на этих гостиных с расписными потолками, со свежей изящной мебелью не нынешнего фасона, с мраморными столами, яшмовыми вазами и т. п. Кажется есть и штоф на стенах. Здесь бы Хитровым<sup>16</sup> принимать гостей; ибо другое дело их недостатки, их пороки даже, и другое дело их декоративность. Породистая, дорогая собака кусается иногда; можно прятаться от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как

иногда и я старался бывать и толкать словами Хитровых, когда они уж очень бывали злы, или невежливы в своей изящной *grérotence*), но нельзя же сказать, что собака не умна, некрасива, не декоративна оттого, что она меня укусила. А если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то дракой, то терпением), — то воспоминание остается очень хорошее.

Я как увидал летом этот дом, снаружи пошлый, но внутри очаровательный, так мне сейчас же пришли на ум все эти гостинные *Rambouillet*, *Dudeland*, *M. Récamier*, *Staël* и т. д., в которых встречались военный и дипломатический гений, литературный дар, поэзия и мысль, остроумие и облагороженные страсти. Я подумал, кого бы я желал здесь видеть?.. И не нашел никого удобнее для этой цели Софии Петровны Хитровой... Пусть бы она в этом доме являлась то в своей длинной белой блузе с розовыми и палевыми бантами, которую она надевает будто бы от усталости, или в том темно-лиловом платье и свежих розах, в которых она ездила со мной в Игнатьевскую больницу...

Пусть бы она тут играла с Ветой, пусть бы рисовала (стараясь только нижнюю часть лица не так укорачивать), пусть бы читала стихи Толстого<sup>17</sup>, пусть бы говорила дерзости; то выгоняла бы доброго Зыбина бог знает за что? за то только, что он водевильный *jeune-premier*; слушала бы мое чтение по вечерам, восхищалась бы моим умом... Чтобы Цертелев<sup>18</sup> был тут, чтобы Мад. Ону<sup>19</sup> сверкала умом (но только, чтобы она не говорила с хозяйкой дома о воспитании детей!), чтобы Губастов<sup>20</sup> лукаво молчал на кресле...

Пусть бы непреклонный юрист, ее муж, переводил бы здесь Гейне, показывал бы нам свой стан, выправленный и личною гордостью, и кавалерийской службой, свой профиль германского рыцаря, свой славянский дух (хотя бы и не всегда верно понятый), свой взгляд *César Bordjia*; свою хладную закоснелую ярость на всех чем-нибудь высших и даже равных ему, свою снисходительность к Нико, Джою или Перипандопуло \*... Пусть бы даже он и мне по-прежнему говорил 1000 неприятностей, вздора и неправды (притворяясь большею частью, что не понимает меня)... все это было бы кстати в таком изящном доме...

И вдруг вместо монументального Хитрова, здесь передо мною умный, благородный, но все-таки горбатый однофамилец мой... Вместо Софии Петровны Хитровой, в которой соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное ко с н о я з ы ч и е и ясный, твердый ум... вместо всего этого... другая.. и вообразите тоже Софья Петровна... Каткова<sup>21</sup>.

Впрочем и сам Катков с годами стал не только ужасно неприятен характером, по свидетельству даже всех служащих у него в редакции, но сверх того... я не знаю как сказать... как-то сер... Мне все кажется, что и с него и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. Впрочем и направление его чем дальше, тем серее. Придется еще раз цитировать Хитрова, который сказал мне про него в Царьграде: «Помни, брат, что и Катков сам вступил уже в пегиод втогичного упгощения»<sup>22</sup>. Правда, может быть невольно сознавая это, он оттого и раздражен. Хорошо! Но что сказать об этой России, от которой мы все имели наивность ждать так много, если вспомним, что Катков и Русск и й В е с т н и к<sup>23</sup> просто заменить нечем... И не видать до сих пор ничего возникающего. О чем думают люди молодые, отказавшиеся от нигилизма—представить себе нельзя... Или это центров нет, хоть есть и люди; или это про й д е т? Но когда ж оно про й д е т?..

\* Слуга, собака, честный труженик [неподписанные подстрочные примечания здесь и дальше принадлежат самому К. Н. Леонтьеву. — С. Д.].

А жизнь видимо пошлет от прогресса... Вот и человек свежий, молодой, которому еще все улыбается и везет пока, Цертелев и тот это говорит о Москве. Славянофилы говорили мне почти то же самое. Федор Николаевич Берг (Боев)<sup>24</sup> говорил мне, что если бы Катков умер, или Вестник закрыли, то печатать просто будет нетде человеку со вкусом, или убеждениями (не либеральными, разумеется, ибо непонятно, чтобы человека со вкусом не тошнило бы от нынешнего развития либеральности). Либеральный нигилизм так развит в Петербурге, что им питаются несколько изданий (Вестник Европы, Отечественные Записки, Дело, кажется Биржа, Петербургские Ведомости и т. д.)<sup>25</sup>. Вот и хваленая молодость России... Я, признаюсь, за последние годы, совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую-то дряхлость ума и сердца... не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела... боюсь сказать... что нужно... быть может целый период внешних войн и кровопролитий вроде 30-летней войны, или по крайней мере эпохи Наполеона I-го. Надо приостановить надолго эту разъедающую, внутреннюю, практическую лихорадку.

Довольно обо всем этом! Теперь опять о себе... Итак, после молитвы у Иверской, я поехал к Каткову в Михайловский дворец, на Остоженку. Это было воскресным днем; тотчас после поздней обедни, которую я отслушал в Кремле. Человек Каткова сказал, что и он и Леонтьев оба еще в церкви в Коммерческом Училище<sup>26</sup>. Полагая, что они скоро вернутся, я пошел пока, но тотчас же на улице встретил Каткова<sup>27</sup>. Он был окружен многочисленными дочерьми и вел за руку маленького сына в русской одежде. Меня это не особенно тронуло. Он увидал меня и улыбнулся мне своей натянутой улыбкой, в которой никогда я не видал ни добродушия, ни искренности, а всегда лишь одну притворную любезность. На дворе его сынок задержал нас несколько времени: он куда-то просился уйти с сестрами. Наконец Катков отпустил его. Мы пошли в кабинет (хороший, вероятно, потому что они еще жили тут временно и не успели ничего испортить). Нам подали кофею и я объявил ему, что приехал в Москву с целью заниматься у него при журнале, если условимся. Я сказал ему вот что:—Не знаю, когда именно я поступлю в тот монастырь, о котором я говорил вам летом\*. Я не могу даже ручаться, примут ли меня туда так, как я бы желал. Я бы предпочел лучше эту зиму всю прожить тут в Москве; только у меня нет денег, чтобы жить. Пенсия моя мала и она назначается для других целей. Мне, чтобы жить одному в Москве, надо, по крайней мере, 250 рублей в месяц.

— Вы нам много должны, сказал Катков, около 4000 р. Такую сумму, 250 руб., выдавать помесечно, как жалованье, нам неудобно. Это у нас не в обычае.

Я настаивал, что иначе просто нельзя. Я доказывал и говорил ему долго. Он слушал внимательно и думал. Потом сказал:

— Конечно, работа может быть разная. Вы можете заняться политическим отделом, не только по Восточным делам, но и вообще. Иногда при редакции бывает вот что. Все материалы собраны, все готово; нужно только бойкое литературное перо, чтобы это все объединить, округлить... Вы обладаете вполне таким пером и для вас в редакции всегда найдется работа.

Так рек Михаил Никифорович, московский публичный мужчина, по выражению Герцена, которого он за это и ненавидит до самой возмутительной несправедливости<sup>28</sup>.

Чтобы не упрекать себя после за какое-нибудь практическое упущение, или недогадливость, я на всякий случай поговорил с ним еще и о возможности возвратиться на службу напр. хоть при Московском Архиве Иностр. Дел,

\* Проездом через Москву в свою деревню я видел его раза три и получил от него 700 рублей.

или получить то место в 3000 рублей (в Синодальной типографии), о котором мне в Калуге, как о вакантном, говорила одна моя знакомая К. Н. Д.-ва<sup>29</sup>. Я говорил, что боюсь только потерять после пенсию, ибо служить долго все-таки не хочу, а лишь столько, сколько бы нужно для окончания некоторых дел. (Конечно, прежде всего литературных: я ужасно боялся, что в монастыре мне решительно запретят писать повести, а у меня до сих пор столько самых грациозных сюжетов из восточной и много оригинального в памяти из русской жизни. Эта боязнь утратить право на последнюю земную отраду моей жизни больше всего боролась во мне с жадной удалиться в обитель.)

Говоря Каткову о возможности возвратиться на службу я имел в виду две цели; одна была та, что он мог помочь мне легко в приискании места; П. М. Леонтьев, сообщали мне, почти друг с обер-прокурором Синода Толстым<sup>30</sup>, а место в Синодальной типографии зависит от обер-прокурора. А другое побуждение было вот какое: мне бы очень неприятно было, если бы Катков и Леонтьев сочли бы меня одним из тех несчастливых идеалистов и бестактных людей, которые ссорятся с начальством, теряют хорошие должности, из-за пустяков бросают службу и т. п. Мне самому такие люди противны и жалки не в хорошем смысле, а в худом, особенно когда они имеют какие-то воображаемые убеждения... И я никогда бы не променял своей службы на поденное писательство, если бы не клятва пойти в монахи. То поденное писательство, на которое я теперь почти решался, я считал лишь горькой и временной, унижительной необходимостью. Я не хотел, говорю, чтобы эти люди думали, что я поссорился с министерством, или что меня удалили за ошибки и непрактичность. У меня, я знаю сам, такой вид, что как раз, не зная меня коротко, можно эту гадость подумать. Даже Ону<sup>31</sup>, который давно меня знал, говорил мне своим билатеральным голосом (я впрочем в нем этот голос, по личному уже к нему некоторому пристрастию, очень люблю): *Je m'étonne, mon cher, comment vous, un homme de tout d'imagination, comment faisiez-vous pour être un consul très modéré et très pratique... Et vos écrits politiques sont aussi excessivement positifs... Voyez-vous je suis un homme pratique... и т. д.* На это я ему отвечал смеясь: *«C'est fort simple... Cela vient de ce que je suis très bien doué et de ce que j'ai en moi toute une masse de ressources variés»*<sup>32</sup>.

Но другое дело мой милый Ону и другое дело московский «публичный мужчина», с которым я желал бы всегда иметь лишь одни коммерческие отношения. Я может быть и ошибаюсь, но мне показалось, что он в 69 году, когда я приезжал в Москву на четыре дня консулом, был как будто внимательнее и любезнее со мной. По всему этому мне хотелось, чтобы он не считал меня вполне от себя зависимым и себе слишком обязанным и чтобы думал, что я и с нашим министерством остался в хороших отношениях.

Он похвалил эту мысль служить в Москве и сказал, что занятиям у него это конечно мешать не будет.

Он назначил мне через несколько дней свидание в грязной своей редакции, и мы расстались. В большой гостиной я увидал с кем-то посторонним моего горбатого однофамильца. Он почти вскочил и подошел ко мне с большим *embressement* и с улыбкой всегда гораздо более живой и искренней, чем гадкая улыбка его знаменитого коллеги. Я поздравил его с недавним спасением (от револьвера Каткова-брата) и он, повидимому, принял это хорошо<sup>33</sup>. Он мне нравится давно, уже гораздо больше Мих. Н-ча.

Я уехал с Остоженки и еще раз мысленно и в теории изгнал их всех: *Mad. Katkow en bête* из прекрасного жилища и снова населил его Хитровыми, Игнатьевыми, Ону, Нелидовыми, Мурузи (вопреки Цертелеву и Зыбину)<sup>34</sup> и т. д. Все эти люди могут иметь свои недостатки и несовершенства, но это

живое общество, а не ученое, скучное хамство... Эти люди, с которыми дышется легко даже и в минуту распрей.

Теперь я с радостью оставляю редакцию и поговорю немного о других моих встречах в Москве. Иные из них гораздо лучше и занимательнее редакционных дел. Редакции—это кухни, или еще хуже—клоаки, ватер-клозеты литературы. Что делать! теперь без них и поэзия невозможна. Я говорю—теперь, ибо были же счастливые времена, когда столько великого и столько изящного люди создавали и распространяли без помощи ватер-клозетов. Прощаясь, хотя к несчастью и не надолго с Катковым, я замечу мимоходом, что у других редакторов еще обстановка по крайней мере лучше. Напр. редакцию Г о л о с а <sup>35</sup> можно назвать отхожим местом м о р а л ь н о, ибо здесь царствует демократическое зловоние самого лукавого и подлого оттенка; но по крайней мере у Краевского <sup>36</sup> в доме хорошо, на банкирский буржуазный манер, на средне-петербургский, но все свежо, очень чисто, просторно, и не без вкуса; и сам Краевский, когда я его видел в 60-х годах, производил какое-то скорей приятное и веселое впечатление неглупого и ловкого вивера. А у Каткова, как я уж говорил, все ужасно серо, криво, косо, прязно и противно...

## 2

Здесь должна следовать глава о других встречах моих в Москве. Эти встречи были, может быть, важны для жизни сердца моего и в смысле воспоминания о прошлом моем (например, встречи мои с несколькими прежними крепостными нашими, которые все были чрезвычайно рады меня видеть), но я пока оставляю это и хочу заняться лишь людьми, которые прямо были связаны с литературной моей деятельностью, и теми обстоятельствами, которые меня привели в монастырь скорее, чем я хотел и ожидал.

## 3

Около этого же времени в редакции Каткова я встретил Федора Николаевича Берга (того, который пишет теперь под именем Б о е в а). Я его прежде в лицо не знал, хотя в 60-х годах мы оба были долго вместе в Петербурге \*. Литературно я больше всего познакомился с ним по его Путешествию в «Заре» <sup>37</sup>. Я помню, мне там многое понравилось; во-первых то, что он вовсе не всем восхищается в н ы н е ш н е й Европе и видимо предпочитает остатки старой; вовсе не все ему кажется там комфортабельным и наконец, он даже п а с п о р т ы р у с с к и е х в а л и т; а я тоже рад и паспортам и всему тому, что хоть чем-нибудь отделяет нас от современной Европы, хотя бы это что-нибудь и само было западного источника.

Что касается до мнения Берга обо мне, как о писателе, то он принадлежит к числу тех рассеянных по лицу земли моих почитателей, которых, как я с каждым днем убеждаюсь, вовсе не мало, хотя мне от этого и ничуть не легче в литературном отношении.

В 69-м (кажется) году Берг, встретивши мою пломяницу Машу <sup>38</sup> у Кашпиревых <sup>39</sup> на вечере в Петербурге, сказал ей, что он в восторге от статьи моей Грамотность и Народность («Заря»), называл эту статью «высоко-художественной» и собирался даже, не будучи знаком со мной, писать ко мне и б л а г о д а р и т ь меня за нее. В первые же недели моего приезда в Москву мы познакомились в редакции.

Катков перебрался уже на свою ужасную лестницу в университетской типографии. Я пришел раз туда и увидал, что какой-то высокий молодева-

\* Я и тогда искал личного знакомства с литераторами еще меньше чем теперь.

тый мужчина средних лет: свежий, белокурый, немного немецкой физиономии, говорит с Катковым. Потом ко мне подошел кто-то и сказал: «Ф. Н. Берг просит меня познакомить его с Вами». Мы поговорили; потом он зашел ко мне и мы после двух посещений стали как свои люди. Он приехал в Москву по делам на время: он долго прожил в каких-то лесах Олонецкой, Архангельской или Вологодской губернии; там, говорил он, у него лесопильный завод. Он уехал, повидимому, туда в первых 60-х годах, именно около того времени должно быть, когда все, что любило и зящное и поэзию и не успело составить себе положения прежде, бросило в отчаянии искусство, эстетику, бежало из России, умирало, шло в Польшу и т. п.<sup>40</sup>, это было то



«КОНСУЛЬСКИЙ ДОМИК» В ОПТИНОЙ ПУСТЫНЕ, В КОТОРОМ К. Н. ЛЕОНТЬЕВ ЖИЛ  
в 1887—1891 гг.

Частное собрание, Москва

время, когда я, промучившись с полтора года в Петербурге, уехал в Турцию, когда Аюллон Григорьев совсем спился с горя<sup>41</sup> и в самом Петербурге пропал долго без вести, когда Вс. Крестовский поступил в юнкера, скульптор Шредер разбил свои глиняные *chef d'oeuvres* и бежал в Бразилию<sup>42</sup> и т. д.

Берг сказал мне, что все мои сочинения у него собраны и переплетены особо. Он сказал мне также, что Вс. Крестовский, друг его, в «Русском Вестнике» прежде всего ищет моих повестей<sup>43</sup>. Говорил много и другого в таком же духе.

Он уговорил меня оставить гостиницу Мамонтова и перейти на Тверскую в новую и небогатую гостиницу «Мир», которую держит очень добрая француженка Мад. Шеврие. «Это будет, говорил он, гораздо дешевле и лучше потому, что с ней можно лично сойтись и видеть от нее всякие уступки и внимание». Я ему за это до сих пор очень признателен. Правда, что в тя-



желом моем положении Мадам Шеврие оказалась мне не раз почти другом и чуть не благодетельницей.

Как только я перешел к ней и условился с ней помесечно, так мне стало полегче на сердце и я, не откладывая больше, хотел приняться за работу помесечно для Русского Вестника или Ведомостей.

Редакцию Каткова понять не легко. Редактором Вестника напр. считался профессор физики Любимов<sup>44</sup>, главным распорядителем по Ведомостям — некто Воскобойников<sup>45</sup>. А между тем Любимов, кажется, ничего не значит, на Каткова влияния имеет мало и точно всех и всего боится. Когда мне приходилось говорить с ним о наших делах и счетах, он все жался, кидался куда-то, стыдился, не кончал фраз, или кончал их испуганным шопотом каким-то и ни минуты не держал головы покойно, а, избегая встречи глаз, все вертел шею туда-сюда. Маленький, серый, бледный, гладко выбритый, испуганный, он с своими дюжинными речами может служить образчиком этой современной умеренно-прогрессивной, умеренно-либеральной дряблости, мелкой учености и жалкого бесцветно-профессорского джентльменства новейшего времени, которого я терпеть не могу за его бесхарактерность.

Кривой, старый хохол и хитрый кутейник Бодянский<sup>46</sup>, который живет как часы или как Кант, мне гораздо больше нравится.

Что касается до Воскобойникова, то он не так боязлив, повидимому, как Любимов, но сказать, что он такое с своими усами—еще труднее. Так что-то такое нынешнее, скучное.

Я слышал, что он хороший исполнитель у Каткова, но сам ровно ничего не значит.

Катков сказал мне, что определенного жалованья помесечно давать нельзя, ибо нельзя знать, какая будет нужна работа. «А работа для Вас всегда найдется у нас»: сказал он еще раз. «Можно будет политику Вам поручить». Он сказал мне, чтобы я поговорил с Воскобойниковым, не найдет ли он мне дела в газете. Легко сказать у них: «поговорите с тем-то», но где и когда? Все они до того спешат, до того озабочены, что только добиваться встречи и разговора, и то уже какая-то унижительная мука для человека, непривычного к суетам и нитью литературного пролетариата.

Я раза два-три просиживал в редакции по несколько часов; работы мне никто никакой не предлагал; я думал, что у них будет так же как у нас в министерстве или в посольстве. Пришел человек 1-й, 2-й раз на службу; сейчас ему дают работу и он спокоен, и дело идет. Он скоро может представить доказательства своей аккуратности, прилежания, ума. Но я напрасно ждал неделю, напрасно просиживал в редакции, теряя время, дорогое мне для романов и больших статей, целые утра. Все секретари и мелкие сотрудники, корректоры, ломовые чтецы иностранных газет, разные художественные фигуры, молча что-то умеренно-прогрессивное мыслящие в углах, знали свое дело, а я все не узнавал и никто мне его не указывал.

Скучный Воскобойников с усами, у которого я наконец имел счастье просидеть около часа в кабинете, сказал мне так: «Трудно теперь найти такое занятие, которое давало бы рублей 200 в месяц. Но прежде всего советую Вам иметь инициативу; тот из сотрудников, кто сам задумал написать что-нибудь для газеты или журнала, не обратится к Вам, а предложит Каткову свои собственные услуги».

Я задумался немного и сказал ему: «Не написать ли что-нибудь по поводу «Складчины», которая была издана в пользу Самарцев<sup>47</sup>. Хотя это и не новость, но я только недавно прочел ее и меня поразило в этой книге вот что: все, что в ней история, воспоминание, правда, то представляет русскую жизнь скорей в хорошем виде, чем в дурном. Все, что в ней вымысел, творчество, носит отрицательный, грубый, насмешливый или плоский характер. Это замечание я сделал уже давно; я уже давно говорю, что если французская литература ищет всегда возвысить тон и краски изоб-

ражаемой жизни, то русская, напротив, никак не может даже и до реальной жизни дорасти. Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и настроением точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья, и в этой книге «Складчина» из очерков и повестей только и есть две неотрицательных; Кохановской — Кроха словесного хлеба<sup>48</sup> и Тургенева — Живые мощи. Да и то «Живые мощи» очень грустны. Это вопрос очень интересный и капитальный; в такой статье можно коснуться кратко всей нашей литературы за последние 20—30 лет. Не надо называть статьи «О Складчине», а по поводу книги «Складчина». Воскобойников сказал: «Это правда, что в этом смысле много можно интересного сказать. Но эта статья будет велика, ее надо в Вестник, а в дела Вестника я не мешаюсь. Там г. Любимов; поговорите с ним; я не имею там влияния. Он другое дело, он профессор, генерал, действительный статский советник. Поговорите с ним».

Кончился Воскобойников.

Опять Любимов. Надо было дня два-три бегать по Москве искать его. Все это еще в первые две-три недели после моего приезда: где ж мне было примениться к тому, когда и где всех этих людей застать.

Наконец, просидевши часа три в лицее П. М. Леонтьева, я там уловил эту ускользающую серую штучку — Любимова. Он всегда очень любезен, впрочем; сел со мной в сторонке и когда я сказал ему о «Складчине», он одобрил и отвечал: «Одиссей ваш, я думаю, скоро будет набираться; я полагаю, что можно будет пустить его в следующей книжке (в ноябре) и когда будет к сроку и эта статья готова, то кажется, что можно и ее в той же книжке напечатать... Тем более, что вы подписываетесь под статьями Константинов. Вот как будто два лица!»

Я успокоился и хотя денег у меня оставалось уже очень немного, но я надеялся, что можно будет сделать так, чтобы новые мелкие работы шли на прожиток, а Одиссей, Болгарский вопрос, Матвеев<sup>49</sup> (если мы, наконец, сойдемся в этом с редакцией) — служили бы на погашение долга в 4000 рублей, который накопился за два года мои в Царьграде, благодаря неаккуратности редакции в ответах на мои письма и телеграммы, благодаря моему увлечению восточной политикой и моей любви к церкви.

На другой день я заплатил 3 рубля за «Складчину» и сел писать.

#### 4

До сих пор я говорил все об отношениях моих к Каткову и Леонтьеву. Но я знакомился и имел дело в то же время и со многими другими лицами. С Погодиным, И. Аксаковым<sup>50</sup>, кн. Черкасским<sup>51</sup>, Самаринным<sup>52</sup>, В. С. Неклюдовым<sup>53</sup>, позднее с Бодянским и княг. Трубецкой, к которой у меня было письмо от кн. А. М. Голицыной.

Любопытно вот что: у Каткова я был какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, должник неоплатный, ищущий еще денег, человек, бывающий только по делу. У других я был гость, консул на Востоке, у Погодина даже замечательный человек, почти авторитет по делам Востока.

Когда я виделся летом с Погодиным, мне достаточно было сказать ему: «Я писал также статьи о панславизме под именем Константинова»<sup>54</sup>, чтобы он оживился и воскликнул: «Так вы бы сразу и сказали! Помилуйте, я старик больной, умирать каждый день собираюсь. Время сочтено. Но теперь, когда я знаю, кто вы именно, я готов с вами сколько угодно сидеть».

Вскоре после приезда моего в Москву, я поехал к нему на Девичье Поле. Он принял меня опять очень внимательно, и попросил меня изложить вкратце, но не спеша, мою теорию в торичного упрощения. Я заметил ему на это вот что: «Вы, кажется, были всегда против аристократии

и привилегий: а у меня, даже вовсе неожиданно для меня самого, вышло заключение в пользу аристократии и привилегий».

Он сказал, что научные взгляды меняются и что он мог и ошибаться.

Я начал ему излагать свою систему. Пришлось, беспрестанно удерживая себя от увлечений и подробностей, говорить подряд, я думаю, час если не более.

Вот тут я увидел, что значит долгая привычка ко вниманию и умственному труду. Этот больной старец во все время не сводил с меня глаз, не перебивая, не шевелясь и все слушая. Глаза его не выражали ни малейшего утомления; они все были светлы и внимательны.

Сколько бы из моих очень умных и молодых друзей и приятельниц стали бы невнимательны, или зевнули бы не от скуки непременно, а от телесного утомления, или начали бы перебивать, сбивать и спорить, не постигши еще хорошо сущность мысли.

Впрочем тут много значит еще и то, кто говорит. Когда говорит человек с авторитетом, человек уже известный, его слушают и самобытные люди внимательно, хотя после могут и бранить его.

Свой брат, товарищ, приятель — не то! А для самих авторитетов, для людей, имеющих имя в науке и литературе, свежий новый человек иногда гораздо дороже тех стародавних знакомцев общего дела, друзей и противников, с которыми они знают и видятся, может быть, уже десятки лет сряду.

Когда я кончил так, чтобы стало ясно, я спросил у Погодина, что же он думает о моей исторической гипотезе. Он отвечал, опуская голову и пожимая плечами: «Что вам сказать! Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа». Потом он начал говорить о том, о чем говорил еще летом, о том, чтобы сделать меня редактором славянофильского журнала и написал тут же И. Аксакову записку, в которой рекомендовал меня и дал мне ее прочесть. Насколько помню, в ней было сказано так: «Это человек примечательный: он мог бы, я думаю, стать редактором Славянофильского журнала; но мне кажется, его необходимо придержать за полу». Я посмеялся, поблагодарил его и поехал к Аксакову.

Прибавлю еще вот что. Погодин говорил мне о состоянии нынешней литературы; жаловался на то, что чем дальше, тем хуже. Говорил, что цензура совсем не то преследует, что вредно и опасно для общего духа и хода дел, а то, что не нравится некоторым лицам; рассказывал, что Ив. Аксаков человек забитый этой цензурой, что он иногда запирается и плачет<sup>55</sup>. А нигилистам, если только они осторожны, житье.

Он жаловался также на классическое воспитание Каткова и Леонтьева, в том смысле, что древним языкам дано уже слишком много часов; что русский ум не немецкий; он может в один час сделать много, а если долго держать его над чем-нибудь, то он утомляется, а немецкий ум выдерживает дольше и т. д.

Молодые люди, утомляясь, бросают и идут в нигилисты, так что мера эта, направленная противу нигилизма, к несчастью, способствует ему<sup>56</sup>.

Он прибавил еще: «Катков и Леонтьев, благодаря своим успехам, сочли себя непогрешимыми; это маленькие Папы. Но все таки... их журнал пока остается прибежищем и я сам печатаю иногда у них и прямо говорю им: я оттого отдаю вам, что нынче негде печатать».

Каково состояние российской словесности? И не прав ли я был, говоря, что это все пошлость прогресса и либеральности.

Посмотрим, что скажет Аксаков, «этот поп-стрелец» по прозванию Герцена. Оказалось, к несчастью, что он гораздо меньше поп, чем я...

Надо заметить, что он меня не знал, но я его знал давно. Я его знал

во-первых в Калуге, когда он в 4-х годах, во времена губернатора Смирнова (мужа знаменитой Россет) служил там в Уголовной Палате. Он нанимал флигель в доме родных моих Унковских и бывал у них часто<sup>57</sup>. Я тогда был гимназистом, но уже интересовался литературой и смотрел на него с большим почтением, хотя ничего не прочел из его сочинений<sup>58</sup>. Потом мы случайно встретились в Крыму в Тамаке, имении Иосифа Николаевича Шатилова, и провели вместе там три дня. Аксаков был ополченцем, а я военным врачом; он участвовал тогда в комиссии Васильчикова для исследований всех злоупотреблений, совершившихся во время кампании, и рассказывал много интересного. Гимназистом он меня не помнит, но наша встреча в Крыму пришла ему на память<sup>59</sup>.

Я имел мало времени и хотел скорее дать прочесть кому-нибудь из славянофилов 1-ю часть моей книги «Византизм и Славянство».

Поэтому я приехал к Аксакову в 5 часов, во время самого обеда. Когда слуга сказал, что кушают, я велел все-таки доложить и прибавил, что мне лучше в прихожей просидеть полчаса, чем 20 раз приезжать.

Аксаков вышел сам, не совсем, конечно, довольный и вежливым жестом, в котором дрогнуло, впрочем, весьма понятное раздражение, указал мне на дверь кабинета и просил посидеть там, пока он кончит обед.

Я сел в кабинете, закурил папиросу и ждал его долго. Наконец он пришел и, не говоря ни слова, начал искать на столе сигару. Я, тоже продолжая курить, сказал ему так:

«Мне надо извинить, если я приехал не во время. Во-первых, я спешу, а во-вторых я прожил в Турции 10 лет, а в Москве жил около 20-ти тому назад: я не знаю, в какое время здесь кто обедает.

— Обыкновенно здесь обедают в 5 часов, отвечал Аксаков.

— Да, в известном кругу, может быть, сказал я: а у меня есть дела с людьми разного рода и еще 20 лет тому назад люди одного и того же общества обедали кто в три, кто в четыре, кто в пять часов.

Аксаков сел около меня на диване и довольно благосклонно и внимательно спросил, в каких городах я был консулом? Потом спросил еще: «Ведь это вы печатали повести из восточной жизни?» Я сказал: «да» и еще я напечатал у Каткова 2 статьи о панславизме, под именем Константинова».

Его как будто что-то кольнуло, он поддался вперед и с живейшим участием воскликнул: «Ах! это вы Константинов!!» После этого любезность его удвоилась и приняла даже тот чуть заметный оттенок почтения или уважительности, который умеют придать, не роняя себя, и возвышая собеседника своим словом и приемом, порядочные и светские люди, когда хотят доставить ему удовольствие или когда повинуются сами невольному чувству.

Я постарался передать в точности наш разговор для того, чтобы видели люди, кто из нас прав и кто виноват в том, что мы впоследствии не сошлись.

Я начал с того, что сказал ему прямо так:—Я вышел в отставку вовсе не по разладу с начальством; напротив того; я рискнул приехать сюда, потому что нет никакой возможности печатать и издавать в России что-нибудь за глаза. Конечно, можно сказать, что я поступил нерасчетливо, но и это решит только будущее. Найдутся, может быть, справедливые люди, которые поймут мое положение и поддержат меня.

Он очень заботливо расспросил меня о моих отношениях с Катковым, и я сказал ему, что по вине самой редакции я задолжал ей около 4000, что дело с ним имею поневоле; ибо другого журнала не революционного нет и т. д. и прибавил:

— Поймите, зависеть от Каткова вовсе мне не по душе, потому что я его умеренному европеизму не сочувствую. Для меня Мордва милее Европы.

Аксаков очень искренно и сочувственно засмеялся и сказал: «Еще бы! Я это понимаю!»

Я донес ему еще на Каткова, что еще в 69 году, когда я приезжал из

Турции в отпуск, он, видимо стараясь подчинить меня больше своему направлению, сказал:—Мне, признаюсь, претит одно это ваше славянофильство. Славянофильство какая-то гримаса, больше ничего. Пусть сама жизнь вырабатывает эти оригинальные формы, а прежде времени учить нас, это доктринерство.

Аксаков, с пренебрежением улыбаясь, слушал этот донос мой, который я излагал всласть, ибо терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство Вестника, и самый характер Мих. Н—ча, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д.

Слово за словом я сказал Аксакову о книге моей «Византизм и Славянство», просил его прочесть ее в рукописи и, если можно, найти возможность напечатать ее.

Таким образом мы заговорили прямо о славянах, о славянофильстве, о болгарском вопросе.

— Вторая часть моей книги, сказал я, чисто практическая, она написана противу болгар, которые и нравственно и канонически не правы. Эту часть Катков напечатать не прочь с сокращениями. Но в книге есть другие отделения: «О психическом характере греков и юго-славян», и еще вот та система особая, о которой я не говорю потому, что вы сами прочтете и увидите.

Он стал меня расспрашивать о болгарях и я ему сказал между прочим вот что:

— Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьями невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой<sup>60</sup>.

Я ему рассказал, что знал об этих богатых старшинах и вождях югославизма, о том напр., как иные из них, обитающие на о. Халках<sup>61</sup>, ездят каждый день по делам в Константинополь и на пароходах сидят все время в 1-м классе, а в ту минуту, когда идет человек собирать плату за места, умеют почти всегда исчезать и оказываться в низшем классе, чтобы платить дешевле, тогда как и вся плата ничтожна.

Он много смеялся этому. Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам подмышкой огромную связку лука, как этот скучный рябой Бурмов, корреспондент Каткова, покупает вишни и торгуется и как грек лавочник восклицает: «Плохи вишни! Да где ты видел такие! Сказано болгарская голова!» и блестящий корреспондент в высоком цилиндре поспешно уходит.

Я прибавил вот что: «Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство, то впечатление было бы совсем иное... Он внушал бы симпатии и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе... то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского».

Аксаков слушал все это улыбаясь и одобрительно. Я чувствовал, что все, что я говорю, ему приятно. Мы долго говорили. Я сказал ему искренно о моих отношениях к Каткову то же, что говорил и Погодину, то есть, что больше негде и что иметь дело с Катковым очень тяжело, потому что надо во всем беспрестанно стесняться, когда пишешь не повести, а статьи.

— «Да! Я это понимаю, понимаю», сказал Аксаков с выражением особенно интимным и сочувственным в лице и голосе...

Я сказал ему еще кое-что о славянофильстве: мне хотелось проверить самого себя. Я так долго жил и мыслил в уединении турецких провинций,

что почти все мои мысли о славянах, Европе и Востоке создались и созрели беспомощно и независимо; в книгах даже был недостаток, а беседы и споров с настоящими, признанными авторитетами того учения, к которому я себя причислял, совсем у меня не было.

Я сказал ему вот что (именно то, что я говорю и в тех статьях моих, которые находятся теперь ненапечатанными по разным рукам и в других еще неоконченных):

— Я не раз думал и говорил друзьям и знакомым своим, что в славянофильстве не столько сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от Запада... И что славянофиль истинный не славян во что бы то ни стало и во всех формах должен любить, а именно это особое культурно славянское... Если только оно найдется или выработается... Вот в чем задача... А что же толку в славянстве ради славянства, политическая сила и больше ничего... И то еще вопрос — будет ли сильно это всеславянство, если оно не будет оригинально, если у него не будет своих особых от Европы принципов <sup>62</sup>... — Разумеется нет, сказал Аксаков...

Я продолжал:

— Я часто думал также, если бы Хомякова или Киреевских или брата вашего <sup>63</sup> поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югославянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от Запада, или союз, сближение, смешение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь свое особое, органическое под их воздействием, хотя бы косвенным,—то все прежние славянофилы предпочли бы этих азиатцев — славянам. Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах.

Опять выражение одобрения, опять: «ну, разумеется!», опять как бы радостное покивание головой.

Я прибавил еще: «К сожалению, я напрасно ищу чего-нибудь особенно славянского, сильно выраженного у славян. Я начинаю разочаровываться не в самом учении, а в славянской жизни, которая не хочет идти по этому пути...

Аксаков: «Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою — послужит к выработке этих особенностей».

Я: «А если это сближение с югозападными славянами приведет нас к тому, что мы еще скорей сольемся с Западной Европой, тогда что?..»

Аксаков: «Ну, тогда все пропало!»

Я обрадовался и успокоился; я увидел, что я верно понимал славянофилов и потому могу смело рассчитывать на всякую от них помощь. Я прошу моих друзей внимательно перечитать этот разговор и сравнить потом, когда дело дойдет до практических приложений этих взглядов, мою прямогу и последовательность с лицемерием или непоследовательностью Аксакова.

Итак на первый раз он был более чем любезен со мной; он пригласил меня бывать у него по четвергам, вечером.

После того, в течение этого октября, в который решилось для меня столько, мы виделись несколько раз. Дня через два после моего первого посещения, Аксаков сам заехал ко мне, не застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели.

Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из славянофилов прочел первую часть моего труда «Византизм и Славянство», ту теоретическую часть о т р и е д и н о м п р о ц е с с е развития, которую отверг М. Н. Катков, отзываясь, что в таких вещах можно как раз договориться до ч о р т и к о в \*. Рукопись моя,

\* Эту любезность Катков сказал мне еще летом. Он в этот день был нездоров, принимал лекарство и, вдобавок, кажется, рассердился на меня за похвалы Герцену. Я сказал: «надо благодарить Герцена уже за то, что он перестал верить в прогресс и смеялся над ортодоксией революции».

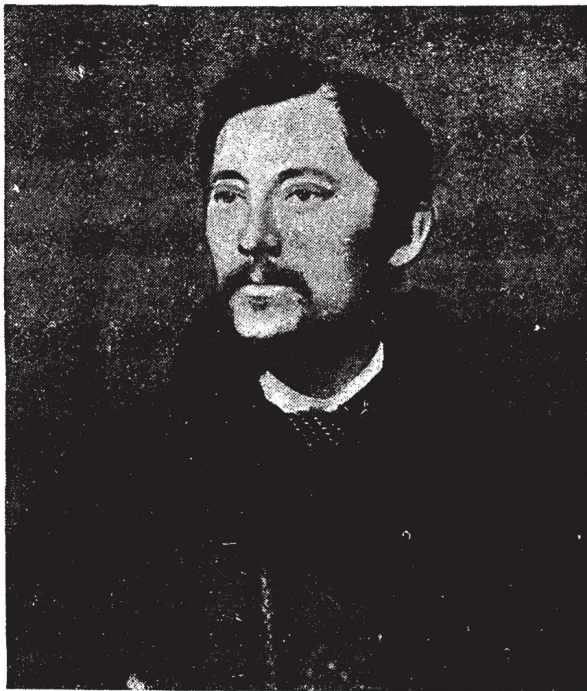
черновая, как всегда была ужасно дурно написана, ибо я трудился над нею через силу во время палящих Босфорских каникул и только живость моего чувства и нестерпимая буря накопившихся мыслей могли через силу бороться с гнетущим жаром южного лета. Старик Погодин был нездоров, глаза его и без того утомленные постоянной работой над собственными сочинениями, воспоминаниями и т. д., отказывались решительно разбирать мои иероглифы. Погодин, чтобы я верил ему, вынул из ящика тетрадь мою и при мне бился-бился и не разобрал почти ни одного слова.

— Вот видите, сказал он мне, пока доберешься до смысла другого слова, потеряешь всю нить мысли. Что делать, я стар: мне 76 лет. Собираюсь в дальний путь... Своего труда бездна. Хочу привести все бумаги свои в порядок. Смерть может притти незначай. Отдайте прочесть это кому-нибудь помоложе; Аксакову напр. Я ему напишу еще, если нужно. Ему напечатать негде; у него журнала нет; но если он не придумает для вас ничего лучшего, я напишу Бодянскому. Он напечатает у себя в Чтении х, только даром и даст вам для отдельной продажи 300 экземпляров. Можете все-таки что-нибудь и деньгами приобрести. Верьте, что я с радостью все, что могу, сделаю для вас. Нам нужны такие люди, как Вы, умные, просвещенные, мыслящие и... (он приостановился) и благородные... А мысли ваши я уже довольно хорошо понял из вашего словесного изложения в тот раз. Я сделаю все, что в моих силах. Напишу еще Кошелеву<sup>64</sup>, не хочет ли он дать деньги на журнал и сделать вас редактором. Если же вы не найдете места напечатать, отдайте мне рукопись... я прочту не торопясь, приберу в свой стол, сделаю свои замечания; если в мыслях ваших есть правда, они не пропадут для людей. Найдут в моем столе по смерти моей.

Энергичный старик исполнил все свои обещания, и впоследствии (когда я уже был в монастыре) показывал мне ответ Кошелева, который отказался от этого плана потому, что с «нашей цензурой» и т. д. Он и так на Беседе потерял, говорят, около 30000. Предложение Погодина заставило, я помню, меня задуматься. Не об редакторстве, ибо я дал себе слово не искать его, и согласиться на него только при самых выгодных условиях денежных и нравственных (напр., чтобы сейчас же бы заплатили за меня братьям хоть по 1500 р. с. каждому и хоть половину моих турецких долгов, назначили бы мне 3000 годового содержания и дали бы полную свободу печатать как хочу и что хочу!); нет, я задумался о том, так ли я близок к славянофилам, как мне казалось... или нет?... Не ошибается ли Погодин, думая, что меня можно сблизить напр. с Кошелевым, которого политические взгляды возмущали меня еще в Турции своей бесцельно-крикливой либеральностью. (Напр. «Что нам нужно?» в «Беседе». Пошло до нельзя!) Надо допустить что-нибудь одно: или что между и з в е с т н ы м и московскими славянофилами есть значительная личная разница, не только в характерах, как бывает всегда, но и во мнениях; или, что предметы, о которых писали Аксаков и Хомяков, были большею частью таковы, что в них меньше выражалось то, что могло меня отталкивать от них, а у Кошелева по роду статей именно разрастались те черты, которые мне вовсе не сочувственны. Оказалось последнее; и я через несколько месяцев яснее понял, что и на почве государственной, чисто политической и даже (вот что неожиданнее!) и даже на почве церковной я со слишком либеральными московскими славянофилами никогда не сойдуся. Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничание, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся.

Но пока вначале, я это только чувствовал на мгновение, не сознавая наглядно; взял у Погодина рукопись мою «Византизм и Славянство» и отослал Аксакову.

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ  
 Фотография 1860-х гг.  
 Частное собрание, Москва



В первый же четверг я пошел к Аксакову нарочно пораньше немного, чтобы застать его еще одного. Я хотел иметь время выслушать его мнение о моем сочинении.

Он прочел около половины, и оно видимо произвело на него сначала недурное впечатление.

Вот что он мне сказал:

— Ваша статья очень оригинальна и остроумна. Если бы у меня был журнал, я бы непременно ее напечатал с некоторыми замечаниями. Ваши взгляды на славянство большею частью верны. «Славянство есть и оно очень сильно; славизма нет». Это правда. Хотя и есть что возразить. Напр., вы представляете Россию в виде какой-то индифферентной почвы, на которую действует (или над которой работает) Византизм... Но, однако, есть и в России нечто свое и на церковной почве. Так, напр., у нас теперь заботятся о том, чтобы священников избирали себе сами приходы. Приход — единица, которую Византия почти не знала<sup>65</sup>. Византия заботилась о крупных массах, о племенах и т. д.

Он говорил еще что-то в этом роде. Можно было бы многое возразить на это; хотя бы то, что именно племенного-то начала в Византии и незаметно, все племена без различия сливались в одной идее, в православии. И еще что в Турции давным давно и селяне и горожане имеют большое влияние не только на избрание священников, но и епископов. Трудно и теперь епископу греческому удержаться долго на месте, если жители его не пожелают, и им всегда есть возможность писать в Патриархию жалобы. Патриархия редко не уступает. При мне подобным образом пало несколько епископов (Янинский Парфений, Адрианпольский Кирилл, один Салонский и друг.) В цветущие времена Византии, насколько мне известно, жители выбирали сами себе священников, а духовная власть утверждала их. Есть даже особая книжка Иоанна Златоуста о священстве, где он объясняет, почему он отказался от сана иерея и скрылся, когда его хотели прихожане избрать. Из нее и из многого другого видно, что избрание народом иереев



дело вовсе не новое, не русское и если уж искать у нас оригинальности (увы! с фонарем или микроскопом!) то скорее все-таки в прошедшем нашем, как оно ни было бесцветно сравнительно с прошедшим миров истинно культурных, а никак не в настоящем и не в близком будущем...

Напр., наше наследственное родовое левитство священников, наши приходы, отдаваемые в приданое за старшими дочерьми умерших попов; наши семинарии, наши епископы, обремененные орденами, и все-таки чрезвычайно влиятельные по своему, твердые, часто даровитые и несмотря на ордена иногда и святые по жизни (напр. Филарет Московский); наши белые клобуки митрополитов с алмазами...<sup>66</sup>.

Все это не похоже ни на католичество, где все духовенство безбрачно, ни на протестантство, где вовсе нет черного духовенства (а все серое с оттенком кабинетной профессуры), ни на Византию, где не было ни наследственности, ни орденов на разноцветных лентах, ни белых клобуков, ни родовых исключительно духовных семинарий... где все в этом отношении было либеральнее, эгалитарнее, подвижнее. Увы! до Петра I мы были слишком похожи на Византию, с Александра II-го мы становимся слишком похожи на Европу (не на Францию, не на Англию или Германию, а именно на Европу), на какую-то средне пропорциональную Европу, не берусь решить — на нечто худшее, или на нечто лучшее частных западных цивилизаций.. Но, конечно, на нечто еще более нынешнего Запада, опошленное и бесцветное. И мне даже кажется (и я боюсь этого), что каждая церковная реформа у нас в духе первых веков православия, имеющая в виду приблизить нас к I-м векам христианства, вместо этого приблизит нас еще больше опять-таки к той же Европе, посредством сочетаний, которые можно даже и предвидеть. Выборное начало, всеобщее голосование, то *suffrage universel*, на которое сами славянофилы так строго нападают, когда оно приложимо к высшей политической жизни (см. биографию Тютчева Ив. Аксакова. Москва, 1874), на западе везде торжествует и, заметим, не в той форме корпоративно-феодальной, которой организация Великобритании обязана до сих пор своим величием, а в растрепанно-индивидуальном, в каком-то бесцветно личном виде. У нас оно вводится также постепенно повсюду: в земстве, в мировых учреждениях и т. п.: у нас уничтожены почти совсем наши сословные корпорации и чисто денежный и ученый ценз *fait la pluie et le beau temps*\* в губернских маленских конституциях, пока не пришел период еще октроировать центральную законодательную земскую думу на основании тех же западно-буржуазных начал: кошелька и университетского диплома (одинаково способных быть уделом пошлости, бездарности и низости).

В постройку церковной администрации нашей внедряется мало-по-малу со всех сторон светское начало: семинарии желали бы вовсе уничтожить; их видоизменяют глубоко, находя, что прежнее духовенство наше имело слишком мало благотворного влияния на народ и высшее общество вследствие замкнутости своей, его хотят всячески сделать более светским, забывая, что если духовенство, воспитанное попрежнему, не влияло особенно благотворно на мирян, то оно же и само трудно подвергалось тлетворному воздействию последних, не легко уступало им; просто не понимало — чего образованные миряне хотят?.. А непонимание есть часто средство несравненно более верное для предохранения людей от какого-нибудь влияния, чем то, слишком высокое понимание, на которое к несчастью рассчитывают нередко мыслящие и очень ученые люди, судя ошибочно по себе, по своему уму и знанию целые толпы и массы народа. Гораздо легче не дойти до того среднего понимания, которое так

\* Делает хорошую и худую погоду [.—С. Д.].

вредно, чем перемануть через него. Именно это-то среднее, дурацкое, опасное понимание (или так называемый здравый смысл) доступно большинству.

Избрание священников по приходам, избрание самих епископов епархией (которое даже «Русский Вестник» давно предлагает), новые духовные суды, ограничивающие власть епископа коллегиальной властью женатых попов, уже потому что они женаты, более близких к общему уровню; нападки на монастыри (пока еще в печати и в разговорах, но мы уже узнали за эти 10 — 15 лет, до чего у нас скоро всякое слово теперь становится делом); все это те признаки вторичного смешительного упрощения, о котором я говорю давно: самое стремление обратить все штатные мужские монастыри в общежития, есть во 1-х соединение путей, упрощение картины; это раз; а во 2-х в сущности это мысль крайне лукавая и лжебогомольная. Говорится, будто бы духовное начальство (т. е. обер-прокурор) фрак-граф, буржуа, «маркиз по виду ты и хам по убеждениям» заботится о благочинии иноческом, о том, чтобы монашество было более строго, чтобы аскетизм был выше; а в сущности выходит только стеснение монашеству, ограничение его; не всякому под силу жить под деспотизмом киногий, а жить хорошо можно и в штатном. Люди знающие говорят, что в штатном Новом Иерусалиме, под Москвой, у архимандрита Леонида живут монахи лучше чем напр. в киновиальной Угреше, где как слышно, сам настоятель о. Пимен сознается, что он может устроить прекрасный монастырь, но не умеет создать монахов<sup>67</sup>.

Итак все реформы и в церковной сфере, все течение мыслей даже у славянофилов, по видимому столь церковных, мнения ученых мирских попов, либеральные фокусы-покусы властей и т. п. при прубейшем непонимании всего этого нашей публики, все это доказывает одно: дух уже повеявшего на общество вторичного смещения и расстройтва есть такой Протей, который принимает всевозможные формы и обманывает даже очень умных и даровитых людей, принимая где нужно и православный лик для разрушения прежних порядков. Все эти возвраты к давнему и более свободному прошлому своей церкви, своего государства, вечевые реставрации и т. п. крайне обманчивы; совершаясь вовсе не при тех условиях, при которых жила древность, они приводят вовсе не к тем результатам, к каким приводили свобода и равенство первобытные. Другое дело было избрание епископов и священников в 4 и 5 веке, когда придворные дамы спорили по вечерам об исхождении св. духа, или теперь, когда в избрание епископа непременно вмешаются Лохвицкие, Максимовы, Краевские, Плевако и т. п. люди<sup>68</sup>.

Иное дело децентрализация Франции в эпоху феодальную; иное дело поздняя попытка Бриссотистов сделать провинции более свободными от Парижа; если бы Робеспьер их не казнил, и если бы они успели в своем предприятии, то Франции не было бы и следа теперь. Ее попридержала на полвека в славе только одна централизация<sup>69</sup>.

Менять и меняться не только надо, менять и меняться неизбежно: но тот кто меняется к цветению — расслабляет и дисциплинирует, напр. подобно Петру; и если православию суждено еще расти и цвести в России и в славянстве, то не в таких пустяках, как избрание приходом священников или неизбрание их, найдет оно себе пищу и уважение, а напр. хотя бы в чрезмерном возвышении царьградского епископского трона после взятия нами Босфора, ибо тогда на этом троне не будут греки и только греки, а будут православные разных племен. Я говорю об этом административном, но не догматическом папизме во второй половине моей книги «Византизм и Славянство», которую я теперь должен был отделить под особым заглавием: «Еще о болгарском вопросе».

(Как бы ахнул, я думаю, Аксаков, когда бы прочел еще и эту часть; но он ее не видал и она сперва валялась у Каткова, а теперь валяется в редакции «Русского Мира», которого редактор Ф. Н. Берг все сильно сочувствует и сочувствует, но как-то слабо содействует и содействует.)

На вечере своем при других Аксаков был очень внимателен ко мне. Он со всеми знакомил меня, говоря: «Такой-то, бывший 10 лет консулом в Турции, тот самый который»... «Панславизм и греки» ...под именем «Константинова»... И опять... «Такой-то... Панславизм и греки... Консул в Турции... Константинов».

Были на этом сборище кн. Черкасский, Самарин, не Юрий, а другой (его брат, кажется; красивый, хотя и рыжий), был некто Васильчиков, очень *distingué* \* с добрым и радостным выражением лица <sup>70</sup>, был еще один высокий, плотный, энергичный мужчина с темной эспаньолкой, никак не могу вспомнить, кто он. Важный и самоуверенный; но по моему мнению он говорил все вздор и так сухо и пусто, что я даже и забыл о чем именно. Была очень красивая, хотя уже не молодая женщина графиня Баранова (сестра Черкасского (такая же брюнетка азиатская, как и он) <sup>71</sup>; были еще два хамоватых человека, оба как-то на одно лицо; один повыше, а другой пониже; я узнал, что один из них тот Барсов, который писал против епископской власти и в пользу поповских судебных конституций <sup>72</sup>. (Еще Елагин возражал ему очень хорошо <sup>73</sup>.) Был, наконец, и этот жирный расхлебня, ученый и ограниченный мужлан Нил Попов <sup>74</sup>, к которому наилучшим образом прилагается то, что я сказал о разных болгарских Топчилештах — С о б а к е в и ч в с о е д и н е н и и с Г а м б е т т о й. Он кажется очень доволен своей судьбой, своим животом, скучной неумной ученостью и тем еще, должно быть, что у него старые его штаны все вылезают из под жилета и что все у него оттуда видно...

Князя Черкасского я здесь в первый раз увидел; дома я его не застал и оставил у него карточку с письмом княгини Голицыной. Он был очень любезен и как-то весел со мной; на энергическом татарском лице его была постоянно вполне естественная, веселая улыбка, глаза ужасно хитрые. Расспросив кой-что об Игнатъеве и о княгине Голицыной, он сел против меня и очень вежливо и почти дружески тотчас приступил к строгому разбору моей статьи «Панславизм и Греки», говоря, что она написана прекрасно и потому именно одно время кто-то из их круга и собирался на нее отвечать; но какие-то обстоятельства помешали.

Я защищался и оправдывался как умел.

Все слушали наш диспут, очень покойный и благосклонный.

— «Итак славяне по-вашему для нас опасны, а греки наши естественные союзники. С точки зрения правительства нашего вы правы; оттого-то ваша статья и понравилась им в Петербурге...»

(Говоря это, князь Черкасский все лукаво поглядывал на Аксакова.)

— Я потому не забочусь о славянах, что и без меня есть кому говорить много о пользе сближения с ними; что ж мне делать, если я боюсь все-славянской демагогии и если я нахожу, что и для славизма необходимы охранительные начала.

Князь Черкасский заметил на это:

— Охранительные начала есть разные. Если я буду напр. потворствовать константинопольскому патриарху, то еще понятно, что это может назваться поддержкой тех охранительных начал, которые нам свойственны; но охранение папства, напр., может служить поддержкой революционных сил в России. Или если вы, напр., не сочувствуете теперешнему *status quo*, т. е. реформам так называемым либеральным, то вы скорее революционер, чем охранитель.

\* Изысканный [—С. Д.]

Я отвечал на это, что не имею такой привычки, как он, к публичным прениям и потому, может быть, не сумею хорошо поддержать против него свои мнения; что статья «Панславизм и Греки» очень мала, но если мне удастся напечатать то, что я теперь привез с собой, тогда будет, я надеюсь, виднее, почему именно я вообще опасуюсь западных и южных славян и в особенности болгар в церковном вопросе...<sup>75</sup>

В той статейке, о которой он говорит (прибавил я), я не мог и развить вполне мою мысль потому что я знал, что пишу для Каткова...

Князь Черкасский с улыбкой пожал плечами и сказал: «А! мы этого и знать не обязаны! Мы судим только напечатанное...»

— Вы правы с вашей точки зрения, сказал я, но и я имею свои оправдания и, повторяю, многое может быть станет яснее, если я напечатаю другие мои вещи... Тут есть система, верная или нет, но только совсем особая, которую я теперь объяснить не могу... сказал я.

Все, даже и обе дамы (Аксакова<sup>76</sup> и Баранова), молча слушали нас; я не хотел больше продолжать спор, который по вышеизложенным причинам был мне вовсе не выгоден, но остался очень доволен любезным, и, так сказать, гостеприимным тоном, с которым препирался со мной этот энергический хитрец, один из заглазных и, лично незнакомых любимцев моих в России. Я его любил отчасти за деспотизм, который он обнаружил в Польше, и еще более за прекрасный ответ на славянском съезде этому Ригеру, который задумал было защищать поляков на обеде... «Не стоит так много говорить о нескольких привислянских губерниях», в этом роде, если не ошибаюсь, хватил его этот русский князь с лицом какого-то киччакского мурзы...<sup>77</sup>

Аксаков тут же поддержал меня, говоря:

— Теперь я читаю в рукописи чрезвычайно интересное сочинение К. Н-ча «Византизм и Славянство». Особенно любопытно читать труд человека, который, понимаете... 10 лет сидел в Турции и думал... Это сейчас видно. Видна свежесть мысли. Видно, что человек пишет совершенно в не наших и здешних условиях и привычек, не думает ни о цензуре, ни о других препятствиях... Между прочим г. Леонтьев говорит совершенно верно: «Славянство есть, славизма нет». Есть китаизм, германизм и т. д. Такого отвлеченного славизма, в звинченного над славянством, как там очень удачно сказано, он не видит<sup>78</sup>.

На этом кончился разговор о моих сочинениях, который занял порядочную часть вечера и который я и сам не прочь был прекратить, ибо с меня и этого было достаточно для успокоения за будущее мое положение в этом, конечно, более всех других порядочном и облагороженном литературно-ученом кругу.

Я был доволен несмотря на все возражения. Пожалуй даже и возражениями был вдвойне доволен и потому-то ни одно из них не поколебало меня внутренне и все дали только случай, яснее проверив себя, сказать себе: Только-то? Ну, это не страшно... и еще потому, что я вовсе и не искал быть просрым прихвостнем старых славянофилов несмотря на все мое уважение к их взглядам и трудам и идеалам; вовсе не думал о том, как бы сжаться, чтобы угодить им лучше. Я готов скорее сжаться для Каткова, ибо считал его всегда чужим, перед которым надо по необходимости обрезать себя, чтобы провести хоть часть своих идей... А на славянофилов я надеялся как на своих, как на отцов, на старших и благородных родственников, долженствующих радоваться, что младшие развивают дальше и дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам, хотя бы в роде моего («Тот, кто хочет культурного славянофильства, своеобразия или славянообразия, — должен опасаться политического панславизма, ибо он будет слишком близок к эгалитарно-республиканскому идеалу,

к Западу, и без того давно пожирающему нас духовно; для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и охранять крепко все греко-византийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами и т. д.<sup>79</sup> Позднее я увидел, что именно от Аксакова я такой *paternité*\* не увижу, а скорее от старых стариков Бодянского и Погодина. Но первым знакомством моим с редактором «Дня» и «Москвы» я был очень доволен.

Для меня при недостаточности моих денежных средств в эту зиму и вообще при затруднительном моем положении, было очень важно заметить, как со мной обращаются и поступают все эти люди, имеющие больше моего денег, известности и влияния. Понятно всякому, сколько может сделать пользы иногда в удачную и выгодную минуту одно какое-нибудь слово хорошей или дурной рекомендации... и потому именно, что это слишком понятно, я особенно об этом распространяться здесь не буду; я упомянул об этом только потому, что хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен, но когда касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения... Только в самые последние года, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже наверное не за горами, я стал мелочнее и на счет литературы; я стал больше прежнего дорожить моим положением, как литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренны и расщеплены эти мнения.

Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения несильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе *memeto mori*\*\* и благодарю бога за то, что я жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив, тогда как бревенчатые стены моего флигеля все увешаны портретами стольких покойников и покойниц, несравненно более крепких при жизни чем я... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить пятичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской шестнадцатилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды, лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать что хочу... но для того, чтобы сшить себе дешевые сапоги, чтобы купить жене калоши, чтобы голод, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря или из самого моего Кудинова на какую-нибудь работу не по силам и вкусу... Теперь я смирился, если не в самомнении, то по крайней мере в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним величавым удалением среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я смирился литературно в том смысле, что иногда... даже... (каюсь, каюсь и краснею этого чувства...) я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что только у одного лишь Тургенева находил наружность приличную для публичной поэзии.

Я вижу, что разные Аверкиевы<sup>80</sup>, Авсеенки и т. п., живя как все и обивая пороги редакций, составили себе хоть какое-нибудь имя и положение.

\* Отеческое отношение [.—С. Д.]

\*\* Помни о смерти [.—С. Д.]

Они литературные *utilité*\* и, хотя согласие помириться на подобной немощи и возможность хотя бы мгновенной и преходящей зависти к подобным посредственностям я считаю в себе лишь признаком усталости, минутами малодушия и эстетической изменой, хотя я уважаю гораздо больше себя прежнего, себя удаленного и брезгающего медленным выслуживанием в литературных кружках, однако... сказал я, что делать! сила солому ломит. Мне нужно жить, наконец (т. е. существовать), и у меня есть обязанности... Вот что я хотел сказать, вспоминая о том, что я больше прежнего стал беспокоиться о том, как примет тот или другой из г. г. литераторов. Право! студентом даже я был на этот счет равнодушнее и спокойнее. Смолоду я даже жалел беспрестанно то Каткова, то Кудрявцева, то мад. Сальяс, то, пожалуй, и самого Грановского изредка, соболезновал думая, как им должно быть жалко и больно, что они не я, что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д.<sup>81</sup>

Студентом и молодым доктором в великом признании своем я был до того уверен, что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера и нередко гордился больше ловкой ампутацией или удачным излечением какой-нибудь упорной сыпи, успехами в верховой езде, или победой над женщиной, чем похвалами, которые слышал своим литературным начинаниям от Тургенева, мад. Сальяс и других. В этом я был уверен; в практических занятиях моих, в хирургической ловкости, в эквитацции моей, в красоте телесной (и в симпатии женщин) я часто сомневался... и хотел достичь большего и большего... Я хотел тогда быть во всем хоть сколько-нибудь доволен собою. Не напечатавши еще ничего, кроме двух посредственных повестей, я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто бы пресыщенный славой человек, как Фридрих II-й, который иногда больше заботился о своих французских стихах, чем о победах<sup>82</sup>. Не победить, не разбить русских, австрийцев и французов он не мог... «Но... вот что важно, думал он, что-то скажет Вольтер о моих стихах?..»

Так думал Фридрих.

Не написать замечательной вещи я не могу... думал я смолоду. Но что подумала Любаша (напр.), когда подо мной лошадь вчера взвилась три раза на дыбы как свечка... А я не обратил на это как будто и внимания?.. О! я напишу еще много, много, успею!.. Но что ж думает доктор NN... он думает что только он один практический человек? Что я не сумею счастливее и смелее еще его вправить этот вывих, или вскрыть этот абсцесс? Я докажу ему, что он ошибается.

Позднее то же самое думалось часто и на дипломатической службе.

Конечно, если рассматривать дело только с той точки зрения, что мне нужно было обеспечить и устроить себя чем-нибудь житейским для того, чтобы и в идеальном труде было свободнее, я, конечно, хорошо делал, что вел, и будучи врачом и будучи консулом, дела так, что меня предпочитали нередко людям так называемым чистопрактическим (не знаю почему — надо бы сказать глупым, лукавым или сухим); я и пишу обо всем этом не столько в укор себе, сколько в укор другим литераторам и обстоятельствам. По идеалу я тогда был правее, чем теперь; но неправота других понудила меня, наконец, к уступкам и к согласию с горя влачиться, если уж нужно, и по этой битой и опошленной дороге столитного литераторства. Я говорил уже, что готов был взяться даже и за редакторскую деятельность, которую вовсе не уважаю и не люблю, если бы условия были бы очень выгодны. Бог спас меня.

\* Полезности [—С. Д.]

Вот что я хотел сказать.

К следующему Аксаковскому четвергу статья моя почти вся была им уже прочтена, за исключением нескольких последних страниц или последней главы, где я говорю о том, почему мы должны остерегаться юго-западных славян и в особенности болгар в их церковном с греками вопросе.

К 1-му четвергу Аксаков прочел только все первые главы о том, что нет с л а в и з м а, но есть обруселый в и з а н т и з м, лучше которого и с культурной и с государственной точки зрения ничего уже не выдумаешь. Ко второму он кончил видимо все изложение м о е й т и п о т е з ы триединого культурно-органического процесса. Он был уже не тот; не только его взгляды на мой труд, и даже тон его личного обращения со мной изменились к худшему.

Рукопись моя лежала раскрытая на его столе.

— Я прочел ваш труд, сказал он, мне осталось дочесть очень немного. Повторяю, все это очень умно, остроумно, в высшей степени оригинально; изложено прекрасно... Но есть вещи, с которыми никакой возможности нет согласиться. Во-первых, вы относитесь к христианству не как к вечной и несомненной истине откровения, а как к обыкновенному историческому влиянию \*. Потом вы проповедуете необходимость юридических перегородок, привилегий сословий, которые у нас, слава богу, разрушены. Неравенство будет и должно быть всегда, но достаточно того, что один богат, а другой беден, один умнее, другой глупее и так далее \*\*. Вы говорите (продолжал он все более и более разгорячаясь и даже краснея): вы говорите «наслаждение мыслящим сладострастием» и... и дальше даже приводите римскую я з ы ч е с к у ю пословицу «quod licet Jovi non licet bovi» (что прилично богу, то не идет волу), или что прилично изящному и могущественному человеку, то вовсе не к лицу нынешнему буржуа \*\*\*.

Поневоле вспомнишь Павла Голохвастова <sup>86</sup> Мы с ним виделись летом, перед этой зимой, у Шатилова в тульской деревне последнего, и он, говоря со мной о статьях моих, сказал мне: «Лучше всего вам будет обратиться

\* Я и ему не возражал на это, и здесь не стану долго объяснять. Бог и духовники мои пусть судят, кто из нас лично более христианин: я или Ив. Сергеевич. Я знаю только то, что я не позволю себе вносить ничего своего в церковное учение и готов подчиняться всему, что велит духовенство, призванное по слову самого Христа вязать и разрешать нас.

До нравственных качеств моих начальников мне почти и дела нет, когда я ишу духовного совета или подчиняюсь их распоряжениям, а Аксаков говорит, что для него Филарет не был авторитетом, что Герцен и Гамбетта для него более христиане, чем напр. нынешний московский епископ Леонид <sup>88</sup>. Хорошо православие! Прибавлю еще, что если бы я видел в наше время человека маломальски религиозного и нуждающегося, каков был я перед очами Аксакова в Москве, так я, если бы рубашку с себя не снял бы для него, то уж конечно с жаром помог бы ему. Я это доказывал при всей нужде своей не раз. А Ив. Сер. что-то и слова не промолвил о какой-нибудь материальной мне помощи. Он мог бы устроить для меня многое. Впрочем это судить трудно, а может быть я и грешу. Да простит мне бог, если я ошибся.

В статье же моей, понятно, что я нарочно отстраняю мое личное православие и хочу стать на такую точку, став на которую всякий бы мыслящий буддист, китаец, турок и атеист понял бы, что такое православие для России, славян и Европы.

\*\* Чем же это отличается от западной буржуазности?

\*\*\* Я писал это по поводу того, что нынешняя всесветная, нескладная, неинтересная, неромантическая *roture* тоже хочет не только существовать скромно, как существовали ее суровые и честные праотцы, а наслаждается жизнью и даже развратничает вовсе не к р о ж е; я так и говорил дальше; «ибо, что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какомунибудь Шульцу, Успенскому, Dubois, Labrosse, Laracaille и т. д.» <sup>88</sup>. Чем же я виноват, что это правда, чем виноват, что это такая же н а у ч н а я и с т и н а, такой же эстетический ф а к т, как и то, что жасмин и роза пахнут лучше смазных сапог или шпанских мух! Ученый, который заявил бы как факт, что олень и лев

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РОМАНА  
К. Н. ЛЕОНТЬЕВА «В СВОЕМ КРАЮ»

# ВЪ СВОЕМЪ КРАЮ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ

К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1864

за помощью к старику Погдину. Черкасский человек очень хитрый... он все сообразуется с обстоятельствами... А Иван Аксаков... я не знаю как сказать... Странно было бы такого человека назвать г л у п ы м, — однако я не

красивее, прекраснее свиньи и вола, не возмутил бы никого; отчего же тот писатель возмутителен, который позволяет себе сказать, что Вронский в Анне Карениной несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, боговиднее того профессора, который спорит с братом Левина?.. Не понимаю. А сколько есть ученых и не очень ученых буржуа, чиновников, адвокатов и т. д., которые даже и не так уж худо щавы и не так тупо научны, как этот философ Льва Толстого... и которые поэтому еще бесцветнее, еще непоразительнее его... Беда мне с этим культом простых и честных людей, который у нас так завелся! Моя языческая поговорка настолько же не противоречит всеобщему христианству, насколько общие физиологические свойства животных, их дыхание, движения и т. д. не противоречат их сравнительной эстетике. Христианство не отвергает как факты ни аристократичности, ни телесной красоты, ни изящества, оно игнорирует их, знать их не хочет... И потому христианин, оставаясь христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне христианства за его философскими пределами о сравнительной красоте явлений точно так же, как может он мыслить о сравнительном законоведении или ботанике... Я скажу больше; есть множество людей до того не изящных, до того прозаических, некрасивых, неумных, пошлых, тошных, каких то ни то ни се, что они мыслящего христианина располагают скорее к богомыслию, чем удаляют от него; невольно думаешь: «слишь бессмертный дух, который таится в этой жалкой, бедной, кислой, mauvais-genre оболочке, лишь только закон его загробного существования, лишь его незримые отношения к незримому божеству могут дать разгадку этим столь многочисленным и к несчастью столь реальным явлениям, как напр. мад. Белоцерковец, Максимов и т. д. Я не шучу несколько. Именно потому-то и говорится, что перед богом все равны, что здесь-то на земле разница между Байроном и Амиаблем, между Бисмарком и Гумбухианом<sup>65</sup> еще слишком велика, вопреки всем стараниям благотельного прогресса, пытающегося уже давно принести в жертву всех Байронов и Бисмарков и Гумбухианам и Амиабл'ям, всех этих *tenore di forza u tenere di grazia aui hommes utiles et laboriaux*\* ...чтобы не сказать хуже... А что перед богом Гумбухиан меньше ответит чем Бисмарк, это очень возможно и утешительно... Неужели Аксаков этого не понимает?

\* Певцов силы и грации — людям полезным и трудолюбивым [С. Д.].



нахожу другого слова... Просто перейдя за известную черту, — он становится глуп»

Итак Аксаков:

Quod licet Jovi, non licet bovi! — продолжал он с честным негодованием, краснея в лице... Языческая пословица; вы однако защищаете православию... Это, наконец, не научно... вы требуете научного отношения к жизни, а это разве научно? Разве это не пристрастие? (хорошо пристрастие сказать, что князь Цертелев красивее, ловчее и остроумнее чем Перипандопуло). Христос равно для всех сошел на землю... (выходит по Аксакову, что Христос пришел на землю для того, чтобы дельный, жирный приземистый, пучеглазый Amiable, которого так уважает Хитров, взял бы себе в Париже трех любовниц на деньги, которые он заработал в мошенническом процессе какого-то тоже... Хана... забыл... И чтобы таким образом Amiable этот имел бы равные эстетические и нравственные права с красавцем и героем юношей Дон-Жуаном. Прекрасно и научно, нечего сказать).

— Потом, продолжал Иван Сергеевич, вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать... Вы — Иеремия, плачущий над развалинами...

— А разве Иеремия не писал? — спросил я.

Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл что Иеремия писал<sup>87</sup>. Напомнив ему об этом, я попросил его посмотреть поскорее, пока не собрались гости, 2-3 последние страницы, где говорится о болгарах. Он согласился охотно, и я тотчас же прочел ему это место. Вот оно:

«— Болгаре слабы, болгаре бедны, болгаре зависимы, болгаре молоды, болгаре правы, наконец» — скажут мне.

Болгаре молоды и слабы!..

«Берегитесь, сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, в этом мальчишке сидят десять Мариев (демократов!)».

«Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально исподлобья; страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы...

«Не немец, не француз, не поляк полубрат, полуоткрытый соперник».

«Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он заражен чем-либо таким, что при неосторожности может быть и для нас смертоносным.

«Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника.

«Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков противу нас мы не встретим того западного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при болгарском вопросе в первые с самого начала нашей истории в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность — племенное славянство наше и византизм церковный...

«Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел, как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше лучшее общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все самые мудрые люди наши дали бы угаснуть своим светильникам...

— Вот видите, воскликнул он, положим это и правда. Да мало ли что

правда. Так нельзя писать для печати... Разумеется болгаре неправы, это бесспорно... Но ведь и греки солгали духу святому.

На этом наша беседа остановилась. Начали собираться другие гости и мы вышли в гостиную.

Я очень мало возражал Аксакову во все время этого tête-à-tête. На этот раз говорил все он и с большим жаром. Я, помню, упомянул как-то о государственной необходимости. Он вспыхнул и сказал: «Чорт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан! Пусть оно гибнет!» Я, говорю, почти не возражал; с первых слов его я понял, что между нами та бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути. Добрый ученик продолжает чтить учителя, не уступая своих новых и часто неожиданных выводов, ни учитель не негодует на эти выводы, может быть, именно потому, что он полусознательно улавливает логическую нить, которая ведет к этим неприятным ему результатам от его же собственных начал.

Как скоро я это заметил, я стал тотчас же равнодушен к тому, что Аксаков собственно думает о достоинстве моего труда, а все мое внимание устремилось лишь к практическому вопросу: поможет ли он мне напечатать его или нет?.. Пусть он ненавидит и презирает, только пусть напечатает как-нибудь. «Бей, только выслушай, или дай другим выслушать...».

И о том, что я сказал так длинно в скобках, то есть об отношениях церковных к Перипандопуло и Амиаблям, я ему упомянул в свое оправдание каких-нибудь два слова; и о болгарях, и вообще о власти и сословиях не спорил; а что я смотрю на христианство только как на историческое явление (на Византизм), я полагаю, и отвечать вовсе не стоило.

Позднее, когда собрались гости, я занялся с неким Кар-Заруцким, который печатал статьи в «Гражданине»; он занимается теперь в особенности старо-католическим делом, Деллингером и т. д.<sup>88</sup>. Я слушал очень охотно его изложение; а Аксаков передавал целому кружку, собравшемуся около него, впечатления, вынесенные Юрием Самариним из его последнего пребывания в Германии. Речь была о том, что прежняя нравственность германской жизни давно уже портится. Что народ глубоко развращен, утратил религиозность и что его зверские, разрушительные инстинкты сдерживаются теперь лишь силою и страхом. Благонравие же во многих семьях образованного класса держится нравственным капиталом, прежде накопившимся под влиянием христианских принципов. Аксакову возражал один ужасно жиденький и не авантажный юноша (кажется какой-то Толстой)<sup>89</sup>. Он возражал горячо, но как-то трепетно, взволнованно и опустивши очи свои долу от стыда и сознания своей дерзости.

Он говорил, что быт образованных классов в Германии очень нравственен и это доказывает, что общество и без религии может быть нравственным. Ибо несомненно, что в Германии теперь религия слабее, чем, напр., во Франции.

Аксаков на это сказал ему с вежливо отеческим оттенком: я не буду говорить теперь о безусловном достоинстве христианства. Речь идет лишь о тех государствах и обществах, которые вышли из христианства и устроились на нем. Этим-то обществам грозит гибель, когда они откажутся от христианского авторитета.

Дряблый юноша опять начинал свою боязливо настойчивую речь. Аксаков опять говорил ему: — Я не говорю теперь...

Я, полуслушая Кар-Заруцкого, думал: что же это? Я ли не понимаю чего-нибудь, или Аксаков не хочет постичь? Немцам и странно и опасно потрясать католические и протестантские авторитеты, а русским и болгарам все нипочем. «Болгаре неправы против патриархии,

но нельзя так писать для печати?» Хороша по крайней мере искренность подобной лжи, подобного лицемерия!

В вечер были и другие случаи не лишённые интереса, но об них поговорю после.

Теперь я должен возвратиться к последним дням моим в Москве, которые начались было работой над «Складчиной» и кончились ужасной крайностью, совершенным литературным разгромом, потерями в суде, опасностью лишиться по описи последней шубы и рубашки, внезапным отъездом в монастырь и ещё одним унижением, о котором мне до сих пор вспомнить больно. Я об этом после в свое время скажу.

## 5

Десять-двенадцать дней, которые я провел за статьей о «Складчине», были единственными сносными днями, которые я провел в Москве со дня прибытия до дня отъезда моего в монастырь.

Давно уже (с тех пор как в 70-м году я понял, что пора мне начать стареть) я ищу только одного: церкви по праздникам, просторной и эстетически не противной комнаты, свободы писать что хочу с утра, напившись кофею не спеша, и скорого сбыта моих сочинений в печать. Я даже потов не искать уже хорошего здоровья; к недугам я привык и мирюсь с ними, когда они не угрожают мне ранней смертью и не препятствуют умственной моей жизни.

В гостинице «Мир» номер мне достался хороший и просторный с большими окнами. Даже обои (я терпеть не могу обои вообще; тоже вторичное упрощение) в нем были не очень противны: светло-кофейные с большими яркими, красивыми и хорошо сделанными цветами. Мне не было стыдно и страшно в этой комнате; в этой комнате я мог писать, не пугаясь беспрестанно от мысли, что может быть сейчас умру от бедности, что и я петербургский бедный фельетонист, учитель гимназии, что я Бурмов, приехавший в Москву или какой-нибудь вообще Успенский... Да простит мне бог эти дворянские чувства! Я до того сильно эти вещи чувствую, что из гостиницы Киттрей (в Кади-Кее) бежал поскорее в Халки между прочим потому, что у Киттрея ковер был какой-то подлый, а дешёвая посуда вся отродясь уже в черных лятнышках. Однажды я заболел у Губастова в квартире; Петраки, который меня знает отлично, увидавши, что я не унываю, сказал мне: «Это Вы оттого не отчаиваетесь, что здесь посольство и все персидские ковры!»<sup>90</sup>

Несколько раз в течение этих хороших дней я был у милых Неклюдовых, которые всякий раз напоминали незабвенные мне гостинные и кабинеты моих цареградских друзей и приятельниц\*. Был и у Аксакова на четверге и встретил там несколько новых лиц, не лишённых занимательности. Дома я все больше и больше свикался с доброй мад. Шеврие, которая держала себя со мной как родственница, и я у нее за буфетом и в комнате ее проводил иногда целые вечера. Даже мой несносный, тупой и вечно потерянный Георгий и тот хвалил эту набожную, тихую и добрую француженку и соглашался с тем, что мы живем скорее в семье чем в гостинице. По середам и по пятницам мне по-прежнему готовили постное и, занявшись все утро, я не раз заходил и в будни к вечерне то в ту, то в другую церковь, молился охотно и тепло и во всех церквах с радостью видел довольство, богатство даже, вкус, видел, что везде есть набожные люди всех сословий и возрастов, видел, что храмы украшаются и подновляются по-прежнему...

\* Я ужасно виноват перед Нелидовыми, что до сих пор не благодарил их за рекомендательное их письмо Неклюдовым. Каждый день я об этом думаю!

Луч света, луч жизни начал опять слегка светить вокруг меня... Отчизна, которая показалась мне сначала так негостеприимна, чужда и даже во многих отношениях противна в этот приезд мой, стала как будто бы оживать передо мною. Все это оттого, что я стал писать.

В это самое время я читал три вечера сряду «Генерала Матвеева» Бергу, который был от него в восторге и говорил, что несколько поправок и произведение это будет в своем роде классическое.

Я начинал немного отдыхать и рассчитывал так: — Хоть роль постоянного сотрудника газеты или журнала, сотрудника, живущего в столице, ужасно всегда мне казалась пошла, прозаична и мелка, но что же делать... И для того, чтобы попасть в очаровательный Крит, видеть живописных турок и греков, водить с ними дружбу, прибить Дерше, быть повышенным и написать потом «Хризо» — нужно же было прослужить рядом... хоть бы с Извековым и Смелским в петербургском департаменте 9 месяцев, за вистливо сокращая чужие донесения и думая: «Есть же такие счастливицы, которые ездят с вооруженными арнаутами по горам!»<sup>81</sup>. Так и теперь (по справедливому мнению Губастова) следовало перетерпеть хоть два года, подновить себе связи с этой противно-растрепанной от эмансипации и прогресса Россией, составить себе прочное литературное положение и тогда вернуться на Босфор и Халки доживать остаток дней своих, деля их между отшельником Арсением, богословами-греками и моим милым посольством, в котором для меня соединилось все добродушие и теплота семьи со всем оживляющим блеском и умом высшего света... (Я бы заставил хоть одного из тех, которые нападают на посольское общество, пожить хоть полгода в интимности Катковых, Лохвицких и т. п. как жилал я, и я уверен, что они заговорили бы другое!)

В эти так скоро прошедшие две недели я стал верить, что я могу устроиться в Москве, помогать семье своей и даже платить не торопясь мои долги в Турции. Долги эти ужасно терзают теперь мне совесть.

Я надеялся, что мелкие статьи, очерки мои могли мне давать средним числом рублей 150 или 200 в месяц, если бы они только появлялись тотчас по окончании и в каждой книжке журнала.

Я не буду здесь распространяться подробно о содержании моей статьи; я упоминал о ней уже прежде; но все-таки и здесь хочу сказать о том же пояснее.

Я вообще могу сказать, что у меня давно уже вкус опережал творчество. Вот в каком смысле. Я помню еще, когда мне было лет 25 и когда я по заключении Парижского мира в 56 и 57 годах гостил долго в прекрасном степном имении О. Н. Шатилова в Крыму, я однажды читал статью Чернышевского «Критика Гоголевского периода». Чернышевский тогда еще не развернул вполне своего революционного отрицательного знамени; он был в то время еще Эстетик 40-х годов; молодой, начинающий, но уже очень хороший писатель. Большая статья эта очень мне нравилась, потому что формулировала ясно и очень подробно именно тот взгляд, который я сам имел на Гоголя, Белинского и других замечательных людей 40-х и первых 50-х годов.

Помню, в одном месте было у него сказано, что «при всем великом значении Гоголя, нет никакого сомнения, что у нас будут со временем писатели более гениальные чем он...»

Я тогда, помню, положил книгу, задумался о том, не я ли один из этих будущих писателей, и стал ходить по комнате и смотреть из окон моего флигелька на берегу речки Карасу. Степная тишь вокруг, туман южной зимы, который стоял над древнескифскими курганами, мираж степной, которым я так часто любовался во время моих одиноких мечтательных прогулок, умные, высоко развитые хозяева дома, с которыми я был дружен... Только

что оставленная жизнь походных приключений и тяжелых, опасных лазаретных трудов, жизнь нужды и наслаждений... В 70-ти верстах от Шатиловых на берегу бушующего моря, в тени огромных гонуэзских башен, молодая, страстная, простодушная любовница<sup>92</sup>, к которой несколько раз в зиму возил меня сам Шатилов, говоря: «*allons à Cythère*» \* или «*Rien qu'un petit tour à Paphos*» \*\*, и когда вдали на краю степи показывались в одном месте темносиние высоты тех гор, за которыми жила моя безграмотная, наивная и пламенная наложница, — он декламировал: «*C'est la que Rose respire... C'est le pays des amours... C'est le pays des amours*» \*\*\*.

В 40 верстах от Шатиловых был еще и другой мир — мать и дочь Кушниковы<sup>93</sup>, в поместьи Учкайя, исполненном унылой, степной поэзии... Матери было всего 35-36 лет и она была еще удивительно свежа и красивее дочери; дочь очень хорошо воспитанная, смуглая, хорошо одетая, рассуждала со мной о Рудине (который только что появился), о немецкой литературе, играла мне на фортепьяно «*les cloches du Monastère*». У нее было одно будничное кашемировое платье, клетчатое, малиновое и *vert-romme* и черный, длинный бархатный *cache-reigne*; и то, и другое я очень любил. Любил ее легкую походку, ее сдержанность и хитрость, под которыми чуть-чуть брезжилась затаенная страстность. У нее было до 25000 приданого, кроме земель, и осужденный умереть один маленький брат.

У Шатиловых я жил не без дела: я был годовым доктором и лечил очень удачно его русских крестьян, татар и дворовых...

Практическая совесть моя была покойна и даже больше... Ибо в наш век ничто так не успокаивает идеалиста, как сознание того, что он делает и практическое дело и делает его даже во многих случаях лучше таких людей, которые кроме своего практического ремесла ничего не понимают, не заботятся о Гете или Лермонтове, о Рафаэле или Бетховене, о том, наконец, чтобы самим быть хорошими и изящными по мере сил.

В России меня ждала преданная, любящая, умная, хотя и очень взыскательная мать в своей благоустроенной деревне, которая, конечно, должна была достаться мне, а не другим братьям.

Я тогда любил наше цветущее, с т о е, хотя и небольшое Кудиново... старые липы его больших аллей стоят и теперь; на дворе его цветут бедные остатки тех роз, из которых мать моя сделала перед большим домом такую красивую кайму вокруг дерновых оазисов, окруженных и узорно изрезанных песчаными дорожками... Но дома теперь нет... В одичалом саду, на липах вьют гнезда скучные и шумные грачи; в аллеях трава по колено; и на узорных когда-то дорожках двора племянница моя<sup>94</sup> тоже давно косит траву, и мы даже рады этому лишнему клоку сена для тех 3—4-х коров, которыми теперь богата наша дворянская нищета...

Мать моя уже не ходит поутру после кофея в свежей кисейной блузе по саду с зонтиком; простой дерновый валик в селе Велине, в 12 верстах от нас, покрыл ее тело и у меня еще и денег не собралось до сих пор, чтобы сделать ей памятник!<sup>95</sup> У племянницы моей, в одном из наших маленьких флигелей, висит в сторонке последний портрет покинутой мною старухи... Она, которая так долго держалась, которая была так долго бодрa, свежа, неутомима, горда, самовластна, хотя и всегда пряма и благородна... на этом портрете так жалка и так убита... На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немого отчаяния, такая мольба о пощаде, что я боюсь подойти к тому уголку, в котором висит этот ужасный для меня портрет. Говорят, она, которая плакала не легко, плакала горько и зажимала уши, когда

\* Поедем на остров Цитеру [.—С. Д.].

\*\* Небольшая псездка в Пафос [.—С. Д.].

\*\*\* Здесь благоухает Рза... Это страна любви... Это страна любви... [.—С. Д.].

рубили на своз наш большой старый дом... А для чего она продавала его? Чтобы увеличить тот небольшой капитал, который был мне нужен для уплаты другим братьям моим...

А я? Что сделал я?..

И все ли люди должны думать то, что думаю я, когда теперь вижу себя иногда почти с отвращением в зеркало и потом смотрю пристально на акварель, на которой я представлен студентом таким юным, красивым... женоподобно-красивым, положим... но что ж за беда?..<sup>96</sup>

Не думаю!..

Горчаков<sup>97</sup>, Катков, Тургенев, Игнатъев, конечно, должны с другим чувством видеть портреты своей молодости и самих себя теперь, через столько лет...

Если даже им и грустно иногда в такие минуты... то что такое грусть!.. Мне не грустно, — мне и страшно, и стыдно... А винить ли мне себя или других — я не знаю...

И чтобы решить это стороннему судье, — надо знать всю мою жизнь, столь бескорыстно посвященную мысли и искусству, надо понять весь ход моего развития и моего теперешнего упадка.. Те, которые знают все это лучше других: Губастов, Ф. Берг, моя племянница Маша — винят не меня, а других...

А во мне иногда все тупеет от долгого напряжения мысли все в одном и том же обидном направлении, от одних и тех же горьких вопросов, которые как замкнутый круг возвращаются ежедневно. И я не знаю — кто виноват?

Недавно я прочел по-русски книгу Иова. Старые друзья Иова стараются доказать ему, что он великий грешник, что бог по делам его наказывает его. Иов негодует; он не может постичь и вспомнить, какие были те большие грехи его, за которые он несет такое ужасное наказание... Он может быть даже желал найти, вспомнить их, раскаяться... и не находит. Он старался быть добрым отцом, господином справедливым и милостивым, он помогал вдове, сироте и страннику... Он непоколебимо верит в бога и надеется, любит его... «Нет! он никогда не поймет, за что его так казнит провидение...»

Встает молодой Эллиуй и говорит ему с воодушевлением: «Да, ты можешь быть и праведен... «Но где ж тебе... тебе!.. смертному постичь цели божии... Почему ты знаешь, зачем он так мучит тебя... Разве ты можешь считаться с ним?!»

На это у Иова нет ответа...

И не успел кончить молодой и восторженный мудрец, как сам Иегова вещает с небес то же самое. Мнение Эллиуя было гласом божием. «Иов прав», заключает господь, «но мне угодно было испытать его.»

Основная мысль этой великой религиозной поэмы — вечная истина и не для одной религии. Есть на всех поприщах вины явные и есть вины и ошибки непостижимые самому строгому разбору, самой придирчивой совести... И вины явные, ошибки грубые не всегда наказываются на этой земле, и правда и ловкость практическая не всегда ведут к цели... (я) говорю здесь практическая в самом широком смысле; практичен, например, поэт, когда он живет поэтично и вдохновительно, удобно и возбуждительно для творчества. Разве Байрон был бы Байроном, если бы он остался благополучно в Англии с miss Milbank?<sup>98</sup>

В наш век слишком много стал приписывать человеческой свободе и человеческому разуму. Есть нечто выше нас и мы виноваты только тогда, когда не исполняем предначертанное нами, а так ли мы предначертали все в нашей жизни, как следует, — кто решит?..

Одно из самых сочувственных мне лиц в современной истории — это Наполеон III \*. Его сгубило то, что я зову вторичным упрощением Франции — сила органическая, а не он развратил и погубил эту, уже и до него глубоко опошленную равенством нацию, как поворят, все эти презренные негодяи школы Jules Фавра \*\* и Гамбетта...

Я помню, когда я смолоду имел глупость тоже либеральничать (вполне искренно, и это-то и глупо!), добрый и честный Дмитрий Григорьевич Розен \*\*, увещевая меня верить больше богу и церкви, говорил: «Non, mon cher K. Н-ч, croyez-moi, il y a quelque chose \*\*\*». Я тогда улыбался с гнусной тонкостью, а теперь, когда я вижу у других эту тонкость, я не бью в морду одних — только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, а других, которые не страшны, не бью потому, что не хочу судиться у мирового судьи... Но что я чувствую!.. Но что я чувствую!.. О боже!..

Я думаю и Наполеон, отдыхая уныло в Вильгельмсгехе (кажется так?) говорил себе: «il y a quelque chose! А я то чем же так особенно виноват?.. Этот народ, подлый как и всякий народ, сам меня избирал три раза...»

Так и я говорю теперь: «Да, il y a quelque chose!» И если есть за мной ошибки и вины эстетические или практические в моей неудавшейся литературной карьере, то я их не вижу, не понимаю и никогда не пойму, как не видал и не понимал за собой Иов крупных грехов, больших духовных ошибок. Вся моя жизнь от 21 года и до сих пор была посвящена самому искреннему, самому рыцарскому служению мысли и искусству. Талант высшего размера во мне признавали и признают почти все те, которые могут быть судьями...

Передо мною теперь целая пачка писем от разных известных лиц, которые свидетельствуют это: от Тургенева, Дудышкина, Страхова <sup>101</sup>, П. М. Леонтьева, Краевского. — Нет... нет... Il y a quelque chose! Il y a quelque chose!»

Я прошу простить мне, что я так отвлекся... Мне очень больно и очень приятно об этом всем писать... И кто меня любит, тот мне все это, я знаю, простит...

В прошлый раз, когда я писал эти записки, я так был грустен, растроган и взволнован, что не мог удержать потока своих мыслей, написал вовсе не о том, о чем хотел писать. Записки эти могут иметь значение только для того, кто интересуется хоть сколько-нибудь мною лично. А тот, кто мне лично сочувствует, тот, конечно, простит мне это невольное отступление. Я и сегодня не могу быть вполне спокоен; и сегодня я не владею моими мыслями, как бывает обыкновенно, а мысли и чувства мои управляют мною. В маленьком флигеле моем меня со всех сторон окружают такие предметы, по которым я даже если бы и не хотел этого, то вынужден был бы ежеминутно читать свою печальную автобиографию. Я говорю «печальную» не потому, что в прошедшей жизни моей не было бы вовсе веселости и наслаждений, — нет, а потому, что я теперь от всего этого должен отказаться и по обету (даже и тогда, когда не ношу иноческой одежды) и по необходимости материальной... Здоровья нет, денег нет, но есть долги... А главное, главное... как говорит Гете:

Если ты потерял состоянье —  
Ты ровно еще ничего не утратил.

\* Не по натуре своей, а по судьбе; и еще потому, что он ужасно выигрывает от сравнения с либералами.

\*\* У которого я прожил два года (58—59) в нижегородском имении почти так, как жил Милькеев у Новосильских в моем романе «В своем краю» <sup>100</sup>.

\*\*\* «Нет мой дорогой Константин Николаевич, верьте мне, тут что-то есть». [— С. Д.]

Честь потерял?.. приобрети славу —  
И все забудется...  
Но если ты утратил бодрость духа  
Muth, веру в себя, в свою звезду...  
Ты все утратил..

Я пишу это на память и не помню даже, откуда это из Гете, из какого стихотворения.

В прошлый раз я хотел сказать, что в небольшой статье моей «О Складчине» я намеревался кратко изложить мой общий взгляд на всю современную русскую литературу, со времен Гоголя, и еще, что у меня критический вкус давным-давно опередил творчество... Давным-давно мне уже перестала нравиться сухая объективность всех наших писателей, их ложный, отрицательный взгляд на жизнь, их противные реалистические подробности. Самый язык их (я говорю теперь не о каком-нибудь Авсеенке и К—шникове, не о топорных произведениях Лескова или Всеволода Крестовского), я говорю о лучших художниках наших, о Льве Толстом, о Тургеневе, о Писемском; самый язык этих лучших писателей наших так часто возмущал меня, что я давно искал случая сказать об этом свое мнение<sup>102</sup>.

Я не раз говорил, что если французы любят чересчур поднимать жизнь (как в сороковых годах говорили, на каблук и ходули), то наши уж слишком любят всячески принижать ее. Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо; комизм, отношения к лицам; даже «Война и мир», произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных грубостей.

И в «Анне Карениной», в которой автор видимо сознательно старался более, чем в прежних своих произведениях, об изяществе,—и в выборе лиц, и в самой форме попадают, однако, эти вовсе ненужные и противные вы-



В. Н. ЛЕОНТЬЕВ И Н. Г. ПИСАРЕВСКИЙ, ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННОГО СЛОВА». 1862—1863 гг.

Частное собрание, Москва



ходки, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. Я предлагаю вспомнить о том, как цирюльник бреет Облонского; как раздался носовой свист (как это пошло, гадко, и главное, не нужно) мужа Карениной... как граф Вронский надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову, и как он поливал водой свою здоровую, красную шею. Но в «Анне Карениной» эти выходы все на перечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять о чем я говорю, стоит только перечесать эти прославленные «Записки Охотника» и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. Хотя бы «Капитанская дочка» Пушкина, или иностранцев: «Вертера», «Manon Lescaut», «Рене» Шатобриана или прозаический перевод «Чайльд-Гарольда» Амедея Pichot. Или, наконец, нечто более близкое — первые очерки и повести Марка Вовчка. Марко Вовчок — женщина, и она как-то сумела избавиться от общего топорного пошиба нашей мужской литературы. Талант ее был не богат и ее слишком скоро испортили нигилисты, внушившие ей направление; но первые маленькие произведения ее верх совершенства. Совсем не похожа на нее другая писательница — Кохановская, но у них одно то общее, что они более всех мужчин наших избавились от гоголевщины.

У Кохановской содержание в высшей степени положительное и выражение пылкое, патетическое, восторженное (у Гоголя есть это в «Риме» и в «Тарасе Бульбе»). У М. Вовчка содержание более протестующее, отрицательное, но выражение в высшей степени мягкое, изящное, какое-то бледно-шелковое... душистое...

Я писал о ней статью еще в «Отечественных Записках» 1861-го года и прилагаю здесь эту статью. Так давно уже сформировался мой вкус, так давно уже претит мне раздавивший нас всех мелочной реализм и ложь отрицания, которые даже и у тех писателей, которые скорее хотят быть положительными, чем отрицательными, находят, однако, себе исход хоть в языке, в некоторых пошлых оборотах речи, в постоянных претензиях на юмор и комизм, в грубой обременительности некоторых описаний, просто навороченных, а не написанных (см. описание лошади в «Анне Карениной», «Бежин луг» в «Записках Охотника»).

Вкус мой сформировался, я говорю, давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои «Восточные повести». «Хризо» я недавно, для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмутился; ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость. Тогда как, перечитывая «Подлипки» (напечатанные мною в 61-м году, в одно время с разбором М. Вовчка \* и роман «В своем краю», я на каждой странице, краснея, встречаюсь с теми самыми чертами, которые мне так претят у других писателей. «Хризо» написана в 1867-м году; шесть лет жизни и чужбина были нужны для перехода критического сознания к способности самому осуществить хоть приблизительно то, чего бы хотел требовать от себя и других. «La critique est aisée, l'art est difficile» \*\* 103.

\* Я прилагаю здесь нарочно для друзей моих списанную с печатного статью эту о М. Вовчке; из нее они увидят, чего именно я требовал от литературы и почему я прав и относительно себя, утверждая, что «Хризо», «Поликар Костаки», «Хамид и Маноли» и другие мои восточные вещи ближе подходят к моему идеалу, чем и мои собственные другие произведения и произведения большинства других русских писателей.

\*\* Критиковать легко, творить трудно [—С. Д.].

Около того времени, когда я успокоился немного, занявшись статьей «О «Складчине», я получил очень грубое письмо от брата своего Александра Николаевича<sup>104</sup>, в котором он требовал от меня сейчас же 200 руб. сер., а в противном случае грозился ехать в Петербург и отыскать там кредиторов покойного нашего брата Владимира<sup>105</sup> и взять у них доверенность на преследование за эти долги дочери его Марьи Владимировны, которая по завещанию матери моей и после смерти отца своего вступила во владение пополам со мной Кудиновым.

Письмо было наполнено дерзостями и упреками. В упреках этих была и ложь, была отчасти и правда. Брат мой (говорю это перед богом! спокойно, без раздражения!) просто дурак и подлец; но и разбойник имеет своего рода органическое право ненавидеть судьбу, который его казнит. А я присвоил себе в прежнее время право всячески карать и казнить его.

Я бы хотел не отвлекаться от главного предмета моего, от истории моих последних литературных неудач в Москве, но о моих отношениях к этому брату необходимо сказать несколько слов, как для того, чтобы яснее было, с каким множеством препятствий и горестей я должен был разом бороться и вместе с тем (похвалюсь!), как я все их мгновенно забывал, как только мог отдаться хоть по утрам вполне труду отвлеченной мысли или свободной мечте. Давно я уже выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение и даже в 71 году, когда я зимой в отчаянии ехал из Солоник умирать на Афон, я на станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу триединого процесса и вторичного упрощения. Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь... даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, самой искренней и чуть не отходной молитвой, по монашескому указанию и по книжкам... Я по очереди раскрыл то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника для себя, для души, для того, чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа для ума, для сочинения, которое я считал уже посмертным, чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение<sup>106</sup>.

На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать, и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария<sup>107</sup> поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: «чем хуже здесь, тем лучше: так угодно богу; да будет воля его...»

Да! внутреннее состояние души моей на Афоне было такое ужасное, какого я еще не испытывал в жизни. Но зато там хоть завтрашний день был обеспечен вещественно; мне не было крайности думать об этом завтрашнем дне иначе, как с духовной точки зрения. Вокруг была поэзия; вся внешняя обстановка жизни и весь внутренний строй ее: природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, самое отсутствие правильных дорог — все было не европейское, все переносило меня в мир восточный, византийский; почти никогда и ничто не напоминало мне там этой буржуазной, прозаической, хамской, подлой Европы (я говорю не про Европу Байрона и Гете, не Людовика XIV-го и хотя бы Наполеона 1-го,

а про Европу последнюю, нынешнюю, Европу железных дорог, банков, представительных камер, одним словом, каррикатурную Европу прогрессивного самообольщения и прозаических мечтаний о всеобщем благе).

Вот что было хорошо на Афоне. Было на чем отвести душу и зрение; это почти то же, что и персидские ковры Губастова; только в огромных размерах. Россия и Москва после долгого отсутствия, напротив того, бросились мне в глаза прежде всего теми своими сторонами, которые для меня так тошны и гнусны; зазнавшимися мужиками, которые от прежнего характера своего сохранили только лукавство и пьянство, но утратили ту черту смирения и покорности, которая их так красила и смягчала; раззоренными или опустелыми усадьбами, теми усадьбами, из которых вышли Пушкин, Жуковский, Лермонтов и Фет, в которых и прасол Кольцов находил себе оценку и приязнь; железными этими путями, от которых все только дорожает до нестерпимости и на которых видишь перед собой все какие-то самодовольные плоские фигуры... адвокатами, новыми судьями-демагогами, процессом несчастной Митрофании<sup>108</sup>, которой злоупотребления (сознаюсь, ничуть не краснея) гораздо меньше возмущают меня, чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова, который так испугался, когда Бисмарк вызвал его на дуэль...<sup>109</sup> Москва и Россия являлись мне пыльной и тесной редакцией Каткова, полной каких-то невыносимо бесцветных и некрасивых деятелей... и дерзкими коридорными лакеями, которые (как я узнал от моего Георгия) удивлялись и смеялись тому, что я ем постное по средам и пятницам; уже до того и они просветились за это десятилетие благодетельного прогресса!

(Пусть прогрессист Хитров спросит себя по совести, молча, пусть не говорит ни слова, ибо правды в этих случаях он не скажет:— «не хорошо ли было бы патриархально их выдрать на конюшне, снявши с них европейский фрак?»).

Итак зрелище в России и Москве было хуже чем на Афоне... Но здоровье было лучше, состояние духа в одно и то же время и бодрее, смелее перед людьми и обстоятельствами, и смиреннее, готовее на все перед богом. И вот тут видна, как и везде, правда божия; он прежде поучил на Афоне, потом развеселил и подкрепил в посольстве и Халках и тогда только отправил меня в скверную русско-европейскую обстановку для борьбы с препятствиями и даже врагами, которых я и не подозревал у себя и которые, однако, оказались. Борьбу уже вовсе свыше наших сил видно господь не посылает...

И я писал с наслаждением в серо-европейской России и среди внешних невзгод точно так же, как писал с наслаждением среди Афонской поэзии с ужасными язвами в сердце, источающими предсмертный ужас!..

Итак мой брат Александр.

Когда в 1869 году я был в Петербурге, мать моя, которая чувствовала себя уже очень слабой, спросила меня: «что я думаю о Кудинове». Здесь я, как на исповеди, говорю все по совести и ничего не хочу утаивать, кроме обстоятельств к делу вовсе не относящихся. Я очень был рад наказать его пороки и его глупость и сказал матери: «Напишите все на имя племянницы моей Маши!» Я тогда находил, что поступаю очень умно и справедливо, действуя на ослабевшую мать в этом смысле. Я тогда был очень доволен службою своею и начальством, здоровьем, писал; Катков, с первого слова когда я приезжал к нему на двое суток в Москву, дал мне 800 рублей вперед. Я не скрою, и наружностью своей я тогда был доволен... Восток обожал еще больше чем теперь (ибо теперь я так тоскую, что не знаю — под силу ли мне было бы жить опять в турецкой провинции без своего общества и друзей)... Тогда мне и в голову не приходило, что я могу

скоро выйти в отставку. Стремоухов говорил мне, что князь очень доволен мною; Игнатъев чрезвычайно аккуратно и любезно отвечал мне на все мои письма; Новиков, которого я видел в Петербурге, говорил мне: «Нехорошо Вам долго оставаться по разным этим Янинам; Вам надо поприще пошире и виднее»<sup>110</sup>.

Сама бедная мать моя, как ей ни больно было быть в разлуке со мной и с женой моей, которую она любила больше всех невесток своих,— радовалась на мои успехи по службе, и даже литература моя, которую она не любила и которой боялась верным материнским чувством, перестала смущать ее; сочинениям моим из русской жизни она ничуть не сочувствовала; «Хризю» ей понравилось и восточные повести мои она с тех пор читала с тем искренним и вместе равнодушным удовольствием, с которым мы все читаем хорошие произведения чужих нам людей, именно с тем чувством, которое ищет автор в читателе... Я был тогда самоуверен и доволен собой. Я верил в свой разум, в свой поэтический дар и в свои практические способности. И я был прав, сравнительно с другими людьми, взявши в расчет мои обстоятельства, которые были вовсе неблагоприятны сначала и из которых я так ловко тогда вышел. Я не был прав перед богом, перед церковью, и только... Меня только Иеронимы могут судить по церковному кодексу; а практических ошибок не было тогда ни одной... И если я смирился, то это никак не потому, что я в своей собственной разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший... Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня; я нахожу, что богу угодно было убить меня; я не считаю Бисмарка во всем выше и годнее Наполеона III-го; я думаю только, что первому пришел черед по воле божией, и больше ничего.. А почему другие в лучшем положении чем я?... Это воля господня... Или какие-нибудь их тайные заслуги, опять таки перед богом, а вовсе не умение устроиться, как говорят... Да и что такое устроиться? Я могу, например, завидовать славе Игнатъева (богатству как-то не завидую), но желал ли бы я быть не Леонтьевым, чтобы купить эту славу? Желал ли бы я приобрести ее только одной политической деятельностью и не написать ничего? Конечно нет! Избави боже!.. Не потому, чтобы я государственную деятельность презирал... Напротив я ее чу высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что, именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю мою, именно мою, жизнь ошибкой... Где бы она ни текла, при дворе или в деревне, в Царьграде или в Янине, в монастыре или на балах... Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим идеалом, славу и положение самого Игнатъева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печатать, долго не слышать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел... Это вторая природа... и все остальное в моей жизни было только или необходимостью или средством для искусства, а не целью само по себе...

Есть нечто бесконечно сильнее нашей воли и нашего ума, и это нечто сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки...

Я каюсь в грехах моих, в моих проступках противу церкви ежедневно и горько; я с радостью падаю в прах перед учением церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (*Credo quia absurdum*)<sup>111</sup>; но я не каюсь в житейских ошибках моих и не при-

знаю ни одной такой, которая должна бы неизбежно вести за собой неудачу... таких и не бывает ни у кого...

Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная, житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости и мягкости характера, за которые меня многие любят... А я скажу: да! в этих записках она даже и не скрыта—эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой самоуверенностью! Тем более что я все-таки прав, и тот, кто знает мою прежнюю жизнь, должен согласиться со мной, если не во всем, то во многом. Вот Губастов и соглашается, потому что он больше всех других меня знает.

Итак в 1869-м году в Петербурге, когда мать моя заговорила со мной о своей духовной, я посоветовал ей отстранить совершенно и Александра Ник., и меня самого и отдать все Кудиново сполна Маше, дочери другого моего брата Владимира (той самой племяннице, которая гащивала у меня в Турции)<sup>112</sup>. Я был доволен собой и самоуверен не без прав на то, и не без основания. Исполненный греха и мерзости перед богом, перед человеческим обществом я был хороший, способный и даже, по своему, искусный в ведении дел человека. Я верил в свой ум и в свое здраво и возвышенно хорошее сердце.

Брата же этого Александра я считал чем-то презренным, забытым, далеким таким предметом, о котором серьезно и говорить не стоит ни с кем, разве только с одной матерью; ибо она, к несчастью; и ему столько же мать, сколько и мне...

С одной стороны я, пожалуй, был и прав. Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал до чего хорошая, добрая, симпатичная натура может стать гадким, низким и жалким характером при вредных влияниях и дурном направлении.

Он был рожден с наилучшей из всех нас душой. Нас было семеро детей у матери, и он смолоду был общий любимец. Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра? Младшая сестра, которая воспитывалась дома, любила его несравненно больше всех других братьев; кузина молодая, которая жила в доме лет 20—25 тому назад, боготворила его; приказчик-старик и жена его, наша няня, тоже обожали его. И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. Он был со слугами тогда добр и приветлив. Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. Матери он тогда был покорен, сильно любил. Он не кончил курса в кадетском корпусе, был исключен за участие в одной шалости и служил бедным офицером в армейском пехотном полку. Однажды (мне тогда было лет 10) он заболел тифозной горячкой во Владимирской губернии, и мать с отчаянием узнала об этом из письма другого офицера, его друга, который из сожалеания к нему и к матери (верно этот, тогда еще столь любящий сын часто о ней говорил) известил мать о его болезни. Не помню, почему мать не могла тогда сама к нему ехать; но она была в отчаянии и тотчас же послала за ним в полк своих лошадей со старухой нянькой, которая была очень умна, распорядительна, сама его, как я уже сказал, чрезвычайно сильно любила, больше всех нас. Полковой командир отпустил брата в долгий отпуск, так как няня привезла ему письмо от матери; и он приехал весной с обритой головой и еще слабый, но вне опасности. Он не хотел подъезжать с шумом к дому и пошел по аллее, через сад... «боюсь, чтобы

маменька не гневалась...» сказал он сестре, которая случайно встретила его в этой аллее... Он до того уважал тогда мать, что считал себя неправым против нее уже тем, что осмелился заболеть так опасно и может быть по какой-нибудь собственной неосторожности причинил ей столько горя и беспокойства и боялся «не будет ли она гневаться...» Но тут было не до гнева... Все, начиная с матери, увидавши его в живых, были без ума от радости: сестра, тетка, люди, я сам...

Он прогостил у нас долго... Я помню, как он, уезжая, прощался... Все мы были в нашей длинной белой зале; это было зимой (лет 35 тому назад!!!); тройка стояла у крыльца; люди носили вещи... грозная и благородная наша мать ходила задумчиво по зале в бархатной мантилье; у стола плакала горбатая тетушка, сестра отца, которая всех нас нянчила и учила азбуке (только азбуке, бедная... рцы, твердо, глаголь... и с указкой... Боже! Боже! где это все?..) <sup>113</sup>. Брат в бедной, ваточной офицерской шинели с крашеным собачьим воротником стоял у притолки прихожей, утирая платком слезы; эти юношеские, чистые слезы катились ручьями по его молодому, смуглому, красивому лицу, на котором чуть-чуть только пробивались черные усики...

Я помню, что садясь в кибитку, он велел мчаться во всю прыть «чтобы уехать скорее от того места, где было так приятно и весело». Так он сказал. Какие же были эти удивительные веселости, которых память причиняла ему такую боль и вызывала у него слезы? Они были самые невинные и простые. Семья, мать, мы все — вот что было ему так до боли приятно... родная деревня, в которой он играл и рос, в которой он любил всех и где все его любили, это самое Кудиново, из которого я, именно я, а никто другой изгнал его теперь и к которому он до сих пор привязан, видимо, сердцем... Жить месяцы и годы с полковыми товарищами, как бы они ласковы с ним ни были; в крестьянских избах, на ничтожном нищенском содержании армейского прапорщика; считать за счастье, если есть ваточная шинель с собачьим воротником; нуждаться в жуковом табаке и чае... знать, что любящая, но строгая и справедливая мать негодует на своего любимца за то, что вместо выдвонной и почетной инженерной службы, он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодчества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и черный хлеб... утомляться на учениях, вставая до света... Потом заболеть без родственного женского присмотра, быть на краю гроба, страдать жаждой и, пожалуй, голодом на каком попало солдатском ложе... Я сам все это испытал во время военной службы моей в Крыму и понимаю, каким праздником должно было казаться бедному молодому офицеру возвращение надолго в материнский дом, просторный, убранный со вкусом, опрятный до-нельзя, теплый, веселый; я понимаю, как весело было ему спать хорошо и долго, есть вкусно и обильно, не думая о завтрашнем дне; вместо гнева суровой матери увидеть ее радость... видеть любовь сестры, меньшого брата, тетки, няни...

Я говорю, что сам испытал все это... Но я готов верить, что чувства брата в то время были гораздо глубже и непосредственнее моих... Я в Крым поехал уже ученым и до болезненности размышляющим юношей; я был тогда «Критон, младой мудрец, рожденный в рощах Эпикура». Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами... Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски, грассировали и танцевали на лучших московских вечерах. Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться головой вниз в жизнь более грубую, более страшную,

более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума... Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воюют и лечат воюющих, просто жить все этаким вялым *rekin*, студентом, который сидит с книжками... Что надо немножко зверства в жизни порядочного человека... Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла... Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей, сам, может быть, согласился бы быть почти убитым (я говорю — почти, чтобы больше уважать себя после и чтобы иметь право больше нравиться кому следует)... Я сам искал походных тягостей и когда мне было уже очень трудно (физически, только физически), я тотчас же вспоминал мои московские внутренние язвы, мой несносный и самопожирающий, студенческий анализ, и благословлял и дождь, который толивал меня в Крыму, и жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб, которые ходили по мне, когда я спал в лагере на траве... И лазаретные ужасы, и укрепляющие душу встречи с чужими смелыми людьми, споры, столкновения и ссоры нередко и опасные, как всегда бывает где много вместе молодых и самолюбивых мужчин. Слишком тяжелый рефлекс сидячей жизни изгнал меня из Москвы; и его же остатки ободряли и восторгали меня в Крыму, среди внешних житейских невзгод. Я думаю, у брата все чувства при возврате на родину были тогда пораздо глубже и чище моих... Он был бедным офицером просто потому, что не мог быть ничем иным; он не искал сам, подобно мне, освежения и здоровья в грубой и тяжелой жизни в глуши, ибо был и без того здрав и свеж и телом и душою. Он жил без рефлекса и тогда, когда был таким милым, теплым офицерчиком, когда был, что называется «душа», и тогда, когда лет 10—15 позднее стал элегантным самоуверенным фатом полудурного тона в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, обольстителем, игроком и щеголем, плохим родным и сыном почти преступным... Он живет без рефлекса и теперь, когда он стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полу-пьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все также самоуверенным нераскаянным как и прежде...

И то, что было милой простотой и непосредственностью в прежнем добром Саше, стало гадкой и подлой глупостью в изношенном и необразованном холостяке.

## ПРИМЕЧАНИЯ

«Моя литературная судьба» представляет первую попытку К. Н. Леонтьева (1831—1891) рассказать о своем литературном пути в форме автобиографии. Предназначенная — как видно уже из подзаголовка — для самого небольшого кружка близких людей, почти иронически «порученная» великосветской даме, — эта автобиография никогда не предназначалась для печати, и в этом ее ценность для исследователя. В ней много интимной откровенности и прямой искренности. Она не боится прямо и открыто высказывать суждения о людях. А эти люди — круг московских славянофилов и консервативных писателей начала 1870-х годов. Леонтьев не боится — именно в силу того, что пишет не для печати — зарисовывать остро очиненным карандашом портреты Каткова, И. Аксакова, кн. Черкасского и других правых деятелей того времени. Леонтьев не боится также говорить о себе достаточно откровенно, с немалою обнаженностью своих мнений и желаний.

Автобиография писана в самое переломное для Леонтьева время. Деятельность его, как художника, начатая еще в начале 1850-х годов, не принесла ему ни удовлетворения, ни славы, ни денег. Блистательно начатая было деятельность дипломата оборвалась навсегда. Пережитая и решающая неудача в третьем варианте жизненного пути Леонтьева: ему не удалось постричься в монахи на Афоне, а кратковременное «послушничество» в Николо-Угрешском монастыре под Москвою привело его к бегству из этого монастыря. Наконец, не предве-





рукописей К. Леонтьева, написано заглавие всего сочинения и ряд примечаний К. Леонтьева; они вписаны М. В. Леонтьевой карандашом, под страницами машинного текста. Текст тщательно выверен М. В. Леонтьевой с рукописью, местонахождение которой мне, к сожалению, неизвестно. Ее не было уже у М. В. Леонтьевой, когда в 1925—1926 гг. мне случилось бывать у нее.

Все подчеркивания в тексте автобиографии принадлежат самому Леонтьеву.

Примечания, которыми снабжена автобиография К. Н. Леонтьева, построены в значительной степени на впервые привлекаемом рукописном материале.

<sup>1</sup> Имение Леонтьева — Кудиново — находилось в б. Мещовском уезде б. Калужской губ. Кудиново было заложено в калужском Общественном банке им. Милютиных. Август 1874 г. Леонтьев проводил в Оптиной Пустыни. «Но денежные дела, — пишет он в неизданной «Моей исповеди» (декабрь, 1878), — вызвали меня в Калугу. Я в одно и то же время получил известие от Марии Владимировны (Леонтьевой, племянницы), что братья мои требуют немедля денег по наследству, угрожая судом, и другое письмо из Константинополя, что жена моя уже прожила все деньги, которые я ей оставил и что ей ни в Россию не с чем выехать, ни в Турции нечем жить... Я вспомнил, что у меня в Калуге есть друг вице-губернатор кн. Гагарин и старый товарищ по гимназии Сорокин, директор Кредитного банка. В Калуге все очень легко устроилось; жене было послано, кажется, 600 рублей; брат был хотя на время успокоен частью долга. Но в Оптину возвратиться уже было невозможно — по, неимению вовсе средств к жизни. Надо заметить, что из Турции я уехал на занятые деньги. Так как Катков моих православных статей не принял и деньги перестал мне высылать туда, то я, чтобы доехать из Москвы и чтобы обеспечить жену на лето, занял на год вперед всю мою пенсию; ее удерживали в посольстве; и мне теперь оставалось одно: ехать на зиму в Москву и искать там литературной работы, помесячной и по заказу. Я ненавижу этот род занятий, но необходимость заставила меня согласиться и на это». Попытка перейти на положение профессионала-литератора и составляет содержание того жизненного эпизода, о котором К. Н. Леонтьев рассказывает в «Моей литературной судьбе».

<sup>2</sup> Георгий — слуга-грек, служивший Леонтьеву на востоке с 1872 г. и вывезенный им в 1874 г. в Россию. — Ивановская станция — на Сызрано-Вяземской жел. дороге, ближайшая к Калуге, не имевшей тогда прямого железнодорожного сообщения с Москвой. — Ечкины — известные в Москве и в подмосковных районах содержатели экипажного заведения. Лоскутная гостиница — в Москве, на Тверской, близ б. Воскресенской площади, на которой находилась Иверская часовня.

<sup>3</sup> «Византизм и Славянство» — основное и самое крупное по объему сочинение Леонтьева, в котором он излагает свою философию истории, как учение о триедином процессе развития. (Собрание сочинений К. Леонтьева, том V, М., 1912, стр. 111—260; далее это издание цитируется одним указанием имени автора и ссылкой на том). В составленной самим Леонтьевым «Хронологии моей жизни» (октябрь, 1883; неиздано) читаем: «1873 год в Царьграде. Отставка. Условие с Катковым... Весна. Переезд на о. Халки. Приезд Лизы. Византизм и Славянство». Пребывание Леонтьева в 1871—1872 гг. на Афоне, в центре православного монашества, сохранившего идеологию и практику византийского государственно-феодального православия, заставило его с особым вниманием отнестись к греко-болгарской церковной распри, длившейся целые десятилетия и закончившейся созывом в Константинополе, в 1872 г., «собора», на котором греческий патриарх предал болгар «анафеме» за то, что в стремлении к национальному самоопределению и независимости они, выйдя из «повиновения» константинопольскому «вселенскому» патриарху, образовали, с разрешения султана, независимую болгарскую церковь. Русское правительство, в лице посла в Константинополе гр. Н. П. Игнатьева, поддерживало болгар против греков, так как, готовясь к будущему захвату Константинополя и проливов, мечтало опереться на болгар в предвиденьи, что греки будут ярыми противниками русского захвата бывшей столицы Византийской империи. К. Н. Леонтьев по греко-болгарскому вопросу резко разошелся с Н. П. Игнатьевым, находя, по собственным словам, что русский посол «слишком открыто потворствует необузданности и коварству» болгарской буржуазии. Частный вопрос текущей политики заставил Леонтьева задуматься над основами исторического процесса, поскольку он выявляется в судьбах греко-славянского мира во главе с Россией, а затем и во всем просторе всемирной истории. В своей «Исповеди» Леонтьев пишет: «Я по внутреннему твердому убеждению чувствовал, что я в этом вопросе чище и беспристрастнее Игнатьева, который искал только внешнего успеха. Я бросил на долго свои бытовые картины и любовные повести, за которые Катков высылал мне деньги вперед, и начал один за другим серьезные труды. Первый был назван: «Византизм и славянство» (в защиту патриарха и в укор болгарским свободолюбцам,

которых безверие и европейские вкусы мне были коротко известны). В этой книге я угрожал России, что она разрушится, если не будет держаться греческих преданий и той строгости взгляда на церковное подчинение, которого держался митрополит Филарет в болгарской распре». На работу над «Византизмом и славянством» Леонтьев затратил все лето и осень 1873 г.

Реакционная историософия К. Леонтьева испугала своей резкостью покладистого оппортуниста реакционной практики, каким был редактор «Московских Ведомостей». «Что же вышло? — спрашивает Леонтьев, — Катков, который поручил помощникам своим писать до тех пор мне самые лестные письма, вдруг замолчал на 8 месяцев, получивши все эти статьи». Катков отверг все присланные Леонтьевым статьи («Византизм и славянство», «Еще о греко-болгарской распре», «Письма с Афона»), благодаря чему Леонтьев, живший на авансы, оказался должен Каткову 3000 рублей. — Прездка Леонтьева в Москву и имела целью переубедить Каткова насчет «Византизма и славянства», а в случае неудачи устроить печатание этой работы в каком-нибудь другом журнале.

<sup>4</sup> М. П. Погодин (1800—1875) — один из лидеров правой группы славянофильства. Леонтьев обратился к нему со своим «Византизмом и славянством», как к крупному историку и как к знатоку славянства в его языке, истории и политике.

<sup>5</sup> Кн. Анна Матвеевна Голицына, урожд. Толстая (1809—1897), жена кн. Леонида Мих. Голицына. Кн. Трубецкая — несомненно кн. Надежда Борисовна Трубецкая, рожд. кн. Четвертинская (род. 1815, ум. в начале 1900-х годов), патронесса многих благотворительных учреждений, влиятельнейшая представительница высшего дворянского общества Москвы. — Кн. Черкасский — кн. Владимир Александрович Черкасский (1824—1878), известный славянофил и видный государственный и общественный деятель эпохи Александра II. Черкасский был энергичным деятелем так называемого «освобождения» крестьян, участвуя сперва в тульском губернском комитете, а в 1858—1861 гг. выступая как член-эксперт в Комиссии для составления положения о крестьянах.

В 1868 г. Черкасский был избран московским городским головой. В 1871—1876 гг. Черкасский находился в политической опале. С начала войны 1877 г. он был назначен заведующим гражданской частью во вновь занимаемых областях. Черкасскому было поручено гражданское и политическое устройство Болгарии.

<sup>6</sup> «Одиссей» — главное художественное произведение К. И. Леонтьева — «Одиссей Полихрониадес. Воспоминания загорского грека», впервые полностью напечатанное в IV томе собрания сочинений Леонтьева (М., 1912). Плод многолетнего труда, роман Леонтьева дает историю жизни рядового представителя выносливой, ловкой и предприимчивой греческой торговой буржуазии — эфирского грека Полихрониадеса. Параллельно развертывается в романе другая, контрастная, биография — русского консула Благова. Роман изобилует множественством действующих лиц из разных народностей, классов, вероисповеданий, и рисует широкую картину греко-турецкого востока, колониальной страны, опекаемой европейскими великими державами, представители которых — консулы — играют видную роль в романе. Леонтьев считал «Одиссея» важнейшим своим художественным произведением. «Что я сделал? — пишет Леонтьев Т. И. Филиппову в неизданном письме от 7 января 1886 г. — Судя по отзывам людей весьма разнообразных: едва ли «Одиссей Полихрониадес» ниже «Обрыва» и «Обломова». Работу над «Одиссеем» Леонтьев начал в Константинополе в 1873 г.: «Кады-Кей. Пишу начало «Одиссея», — читаем в «Хронологии моей жизни». Последний отрывок закончен в 1882 г. В течение этого десятилетия «Одиссей» появляется в «Русском Вестнике» отдельными кусками, под особыми заглавиями, придававшими этим кускам характер сюжетной законченности. Первая часть романа, написанная в Константинополе, появилась в «Русском Вестнике» в 1875 г. (№ 6—8), под заглавием «Мое детство и наша семья. Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека». Вторая часть, начатая в августе 1874 г. в Оптиной Пустыни, появилась в 1—3 книжках «Русского Вестника» 1876 г. под заглавием «Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела», с тем же подзаголовком. Оба эти куска романа были перепечатаны в том же году во II и III томах «повестей и рассказов» К. Леонтьева «Из жизни христиан в Турции». Дальнейшие куски «Одиссея» вышли под заглавием «Камень Сизифа» (там же, 1877, книги 8, 9, 11 и 12, 1878, книги 7—10) и «Я купец» (там же, 1882, кн. 1). Роман остался неоконченным. Он обрывается на фразе: «Так ликовал я, не зная, что мне придется скоро опять рассказывать. И как глубоко, как постыдно». Леонтьев пытался выпустить полное издание романа в трех томах, стараясь заинтересовать им А. С. Суворина. «Денег не требую, — писал Леонтьев в неизданной записке «Об издании «Одиссея». — С меня достаточно, чтобы мне была предоставлена продажа после погашения расходов»; Леонтьев соглашался даже на то, чтобы роману предшествовало чье-

нибудь предисловие (12 августа 1890 г.), но Суворин нашел издание невыгодным. Роман появился, как уже сказано, только в посмертном собрании сочинений.

<sup>7</sup> Оптина Пустынь — монастырь близ г. Козельска, б. Калужской губ., известный своими «старцами», послужившими прототипами для «Старца Зосимы» в романе «Братья Карамазовы» Достоевского. В 1875—1886 гг. Леонтьев почасту и подолгу гостил в Оптиной Пустыни, а с 1887 г. поселился в ней на постоянное жительство. В 1891 г., незадолго до смерти, он был пострижен в скиту Оптиной Пустыни в тайное монашество с именем Климента. Лишь перед самой смертью Леонтьев переселился из Оптиной в Сергиев Посад.

<sup>8</sup> Консул Благов, живущий и действующий в Янине, представлен в романе «Одиссей Полихроннадес» как энергичский проводник русской империалистической политики на Балканах, в чайнии дележа султанской Турции. Эстетик и сибарит, он любит и ценит красоту турецкого феодального быта и держится высокого мнения о национальном характере турок, но как ревностный агент царской России, решительно и ловко проводит политику внедрения русского влияния на Балканах, завоевывая себе популярность среди греческого и славянского населения Эпира. В чертах консула Благова Леонтьев отразил многие черты собственной личности и деятельности в качестве русского дипломатического агента на о. Крите (1863—1864), в Адрианополе (1864—1867), Тульче (1867—1868) и Янине (1869—1871). Из других прототипов Благова Леонтьев называет «Ионина» Трудно решить, который из братьев Иониных, дипломатов 1860—1870-х годов, был этим прототипом. Обоих Леонтьев хорошо знал — и в биографии обоих есть черты, перешедшие в консула Благова. Старший из братьев Иониных Александр Семенович (род. 1837), предшественник Леонтьева по консульству, в Янине, был одним из видных представителей русской агрессивной дипломатии 1870-х годов. По словам М. В. Леонтьевой, «в Янине Ионин старался поднять восстание эпиротов против турок. К. Н. [Леонтьев] сменив его, переменял политику и жил в мире с турками. Ионина К. Н. считал умнейшим человеком» (Рассказы М. Леонтьевой, записанные мною в 1925—1926 гг.). По словам К. Ф. Головина, «многие в Петербурге считали Ионина зачинщиком герцеговинского восстания (1875 года), послужившего толчком к сербо-турецкой войне 1876 и русско-турецкой 1877—1878; он «был на самом деле самый ортодоксальный дипломат, слишком только влюбленный в Черногорию. [Он был там министром-резидентом. — С. Д.]. Черногория увлекла его своим уж совсем не банальным видом. И природа и люди там не имеют ни малейшего сходства с буржуазной европейской культурой. Ионин не только долго жил в Черногории, но почти управлял ею. Многие думали, что Ионин — нечто вроде политического агитатора, поджигавшего славянские страсти. Ионин оказался агитатором поневоле, потому что агитацией занималось само правительство. Славян он любил искренно, но не делал себе на их счет никаких иллюзий. Нельзя было артистической натуре Ионина, отворачивавшейся от всего заурядного и мещанского, не полюбить такой самобытной народец, как черногорцев» («Мои воспоминания», том I, СПб, 1908, стр. 302—308). Как видно из сообщения Головина, в отношении А. Ионина к славянству и западной цивилизации было немало общего со взглядами Леонтьева. Это сходство отмечает и Г. де Воллан: «Ионин развивал ту мысль, что с Россиею надо обращаться как с умалишенным человеком, т. е. усадить ее в темную комнату... Ионин против всяких конституций и земских соборов. Он находил, что надо лечить Россию тишиною и спокойствием. Он даже предсказывает распадение России». («Очерки прошлого. Дневник за 1882 г.», «Голос Минувшего», 1914 г., № 5, стр. 144). А. С. Ионин в конце жизни был посланником в Бразилии (с 1892 г.) и оставил объемистое сочинение: «По Южной Америке» (СПб, 1892). Его младший брат, Владимир Ионин (1838—1886) был не менее, а, может быть, еще более ярким представителем русской агрессивной дипломатии на Балканах. Служа в консульствах в Мостаре (1860), Белграде (1865) и Рагузе (1867), он так рьяно вел пропаганду объединения славян под главенством России, что во избежание преждевременных конфликтов с Турцией министерство иностранных дел должно было переместить Владимира Ионина на службу в Петербург, в азиатский департамент. Покинув казенную службу, В. Ионин сделался в 1876 г. председателем болгарского антитурецкого комитета в Бухаресте. В том же году он сформировал отряд болгарских добровольцев, имевший целью, во время сербо-турецкой войны, поднять восстание в Болгарии. В 1877 г., во время русско-турецкой войны, В. Ионин был избран председателем боснийского народного временного правительства, но должен был бежать из Боснии. В 1880 г. во время оккупации Боснии Австрией он обратился с письмом к Гладстону с протестом против жестокостей австрийских войск (Русский Биографический Словарь. Том «Ибак — Ключарев», стр. 320—321). — Михаил Александрович Хитрово (1837—1896), друг детства Леонтьева, отпрыск старого боярского рода, принадлежал также к числу видных дипломатов царской России. Во время первого появления Леонтьева на Востоке, на дипломатическом поприще, Хитрово занимал в Кон-

«стантинополе (1867) должность первого секретаря посольства. «Хитрово обращался со своим другом провинциалом немного покровительственно и свысока» (К. А. Губастов, «Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве», Сб. «Памяти Леонтьева», СПб., 1911, стр. 187). В 1871 г. Хитрово был генеральным консулом в Константинополе. В дальнейшем Хитрово был посланником в Румынии, Португалии и Японии. В 1891 г. Леонтьев писал Губастову про Хитрово: «Про этого человека можно сказать почти то же, что говорили про регента Филиппа Орлеанского: «Небо дало ему множество даров, но он их все употребил на злое или порочное». Знатный род, красоту и физическую силу, выгодные связи, острый ум и смелость, твердость духа, образованность, литературный даже дар, прекрасную служебную дорогу с ранних лет, жену весьма умную, ловкую в высшей степени, изящную до нельзя... И что же он изо всего этого «сделал? Его имя и высокие связи помогли ему на службе далеко не настолько, насколько могли бы помочь другому, более здравомыслящему человеку, благодаря его грубой бестактности на службе; его смелость и остроумие служили только для оскорбления других без нужды; его твердость выражалась лишь в ребяческом упрямстве там, где не нужно; в его эстетическом развитии не оказалось даже творчества и оригинальности; роскошь его была всегда какая-то пошлая и бесследная... Жену, конечно, он отбил от себя деспотизмом для деспотизма, зря... Стихотворный дар его [Хитрово выпустил в 1892 г. сборник стихотворений, повторенный в 1896 г. — С. Д.] пошел на обидные, личные эпиграммы да на бесцветные стихи. В политических и социальных идеях влачилсЯ всегда по пятам либералов и смеялся (помните?) над моими «пророчествами». Все невпопад; и энергия вся — без пользы и себе и другим. Для дела русского полагаю, будет выигрыш от его заточения в какую-то Португалию» («Русское Обозрение», 1897, кн. 7, стр. 423—424). Хитрово вошел в Благова («Одиссей» Леонтьева) своими чертами родовитого барича, избалованного эгоиста, причудливого самогодца с придиричивым эстетическим вкусом.

<sup>9</sup> Ingres (Jean-Auguste-Dominique) — Жан Огюст Доминик Энгр (1780—1867) — знаменитый французский художник — неоклассик. («Эдип», 1808, «Апофеоз Гомера», 1817, «Обет Людовика», 1824 и др.).

<sup>10</sup> Н. Н. Ге (1831—1894), знаменитый художник, автор картин на исторические («Петр I допрашивает царевича Алексея», 1871) и религиозные («Тайная вечеря», 1863, «Утро воскресенья», 1869, «В Гефсиманском саду», 1869) темы.

<sup>11</sup> О романе К. Леонтьева «Генерал Матвеев» см. примечание 49—Упоминаемый далее «Вопрос» Маркевича—«Спорный вопрос»—роман Б. М. Маркевича (1822—1884), автора повестей из великосветской жизни и обличительных реакционных романов, печатавшихся в «Русском Вестнике» Каткова.

<sup>12</sup> Всеволоду Владимировичу Крестовскому (1840—1895), автору «Петербургских трущоб» (1864—1867), принадлежат два романа, в которых он, типичный поставщик реакционных романов, пытается объяснить успехи освободительного движения 1860-х годов связью его с польскими повстанцами. Это — «Панургово стадо» и «Две силы», печатавшиеся в «Русском Вестнике». В 1875 г. оба романа изданы отдельно под названием «Кровавый луж».

<sup>13</sup> На Страстном бульваре, в доме Университетской типографии помещались редакции «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника», издаваемых М. Н. Катковым.

<sup>14</sup> «Императорский лицей в память цесаревича Николая», — среднее и высшее учебное заведение, основанное в 1867 г. Катковым в противовес гимназиям и университетам, которые он считал слишком демократическими по типу и оппозиционными по направлению, — помещался в бывшем дворце великого князя Михаила Павловича, возле Крымского моста.

<sup>15</sup> Леонтьев, Павел Михайлович (1822—1875), с которым обычно смешивают К. Н. Леонтьева, — профессор московского университета по кафедре римской словесности, издатель сборников «Прописки» в 1850-х годах, был самым близким сотрудником Каткова по редактированию «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника», в которых П. Леонтьев выступал в качестве политического публициста. Яркую характеристику его дал С. М. Соловьев: «Маленькая двугорбая фигура с четвероугольным матово бледным лицом, густыми русыми волосами, карими холодными, не проницательными, но внимательными, старающимися проникнуть и потому очень неприятными, глазами. Первое, что поражало в Леонтьеве внимательного человека, — это напряженное внимание, с каким он обращался ко всему, желание проникнуть, изучить человека, дело, отношение. Цепкость была отличительным качеством Леонтьева; цепится во что-нибудь — не отстанет; «собака» (репейник) есть лучшее для него подобие. Эта цепкость в каждом деле была драгоценным его качеством для Каткова, когда они вместе издавали журнал, газету, завели лицей; нетерпеливый впечатлительный Катков приходил в от-

чаяние от каждой неудачи, от каждой ошибки, от каждого препятствия; но Леонтьев вцепился крепко в дело, и ничем нельзя было его отцепить; всякую беду он надеется переждать, всякое препятствие преодолеть, всякую ошибку поправить; он везде ровен, выдержлив; бешеный Катков опрокинется на него с упреками, — Леонтьев выдержит спокойно и успокоит. Та же цепкость — в привязанности и во вражде» («Записки С. М. Соловьева», П., 1910, стр. 131—132).

<sup>16</sup> «Хитровы» — М. А. Хитрово (см. выше) и его жена — Софья Петровна, урожд. Бахметева, племянница гр. С. А. Толстой, вдовы поэта гр. А. К. Толстого. Женщина тонкого ума, изысканной образованности, блестящая собеседница, внимательная к поэзии и философской мысли, С. П. Хитрово привлекала к себе творческое и жизненное внимание А. А. Фета, Вл. С. Соловьева, Д. Н. Цертелёва и многих других. Наследница гр. А. Толстого, она унаследовала его дружбу. С. П. Хитрово возглавляла один из последних — если не последний — аристократических салонов, еще обладавших живыми связями с литературой. Последняя представительница того салонного периода русской дворянской литературы, который связан у нас с именами Е. А. Карамзиной, А. О. Смирновой (Россет), С. П. Свечиной, гр. А. Д. Блудовой, гр. Е. П. Ростопчиной, гр. Е. А. Салиас и др., С. П. Хитрово закономерно возбуждает в Леонтьеве воспоминания о знаменитых хозяйках литературно-аристократических и буржуазных салонов Франции XVIII и начала XIX столетий.

<sup>17</sup> Гр. А. К. Толстой — (1817—1875).

<sup>18</sup> Кн. Алексей Николаевич Цертелёв (1848—1883), дипломат и писатель, начавший дипломатическую карьеру секретарем генерального консульства в Белграде, в 1874 г. младший секретарь русского посольства в Константинополе. В дальнейшем был управляющим консульствами в Адрианополе и Филиппополе. Цертелёв был одним из ярких выразителей «игнатьевского» натиска на Турцию, предшествовавшего войне 1877—1878 гг.: для Цертелёва политическая экспансия Игнатьева превращалась в увлекательную экспансию собственной карьеры. В 1876 г. Цертелёву в качестве секретаря посольства было поручено следствие о так называемой «болгарской резне», и его доклад был использован Игнатьевым как один из важнейших аргументов в пользу дипломатического, а потом и вооруженного вмешательства России в турецкие дела. По словам Цертелёва, он еще «за несколько дней до манифеста о войне определился охотником в один из драгунских полков», а затем «был переведен во 2-й конный полк Кубанского казачьего войска». В составе этой казачьей части Цертелёв проделал первый забalkanский поход, описанный им в «Письмах с похода» («Русский Вестник», 1878, кн. 9, стр. 206—266). Когда после берлинского трактата была создана автономная «Восточная Румелия», Цертелёв был назначен первым русским генеральным консулом в ее столицу Филиппополь, где принял решающее участие в составлении органического статута для В. Румелии. «Он (Цертелёв) выдвигался из числа многих, но он в существе был себялюбец, любил выставлять себя и схватывал вопросы как-нибудь для личных целей. Mania gloriosa — он сошел с ума. Телеграфировал во все концы мира, приглашал всех высокопоставленных лиц Европы на вечер в Коллизей». Г. А. Воллан называет Цертелёва «карьеристом с недюжинными способностями, но политическим шарлатаном» («Очерки прошлого. Дневник за 1882 г.», «Голос Минувшего», 1914, № 5, стр. 146). К. Ф. Головин именует его «enfant terrible» в среде дипломатии («Мои воспоминания», том I, стр. 308). К. Н. Леонтьев держался приблизительно такого же мнения о Цертелёве (см. отзывы в письмах к К. А. Губастову в «Русском Обозрении», 1894—1897 гг.).

<sup>19</sup> Мадам Ону — супруга дипломата Михаила Конст. Ону (см. ниже), урожденная Луиза Александровна Гаранкур, приемная дочь бар. А. Г. Жомини (1814—1888), видного дипломата эпохи Николая I и Александра II, в 1875 г. управлявшего временно министерством иностранных дел. Находя, что «Мадам Ону очень легкомысленна, беспорядочна и ненадежна» (письмо к Е. С. Карцовой от 23 апреля 1878 г.), Леонтьев ценил в ней блестящую собеседницу.

<sup>20</sup> Константин Аркадьевич Губастов (1845—1913), видный дипломат эпохи Александра II, Александра III, Николая II, ближайший друг К. Н. Леонтьева. Познакомившись с Леонтьевым в 1867 г. в Константинополе, Губастов оставался в самых близких дружеских отношениях с ним вплоть до его смерти. Дипломатическая карьера Губастова протекала в течение первого десятилетия на Востоке (1867 г. — секретарь консульства в Адрианополе, должность, в которой Губастов сменил Леонтьева; в 1869 г. — консул в Виддине; 1872 — 2-й секретарь посольства в Константинополе, в 1878 — генеральный консул там же), как бы параллельно с карьерой Леонтьева. Им подолгу случалось жить вместе (в Константинополе в 1867 и в 1872—1874 гг., в Петербурге в 1878, в Варшаве в 1880-х годах); в остальное время велась деятельная переписка. Леонтьев неоднократно говаривал, что до конца знают его только два человека — племянница М. В. Леонтьева и К. А. Губастов. Эта исключительная близость подтверждается их пере-

пиской: письма Леонтьева к Губастову, напечатанные им в «Русском Обозрении» (1894 г., кн. 9, 11; 1895, кн. 11, 12; 1896, кн. 1—3, 11, 12; 1897, кн. 1, 3, 5—7) и в сборнике «Памяти К. Н. Леонтьева» (СПБ, 1911), являются важнейшим источником для изучения как жизни, так и мировоззрения Леонтьева, который делал Губастова поверенным самых загадочных своих исканий: к Губастову обращены, например, все высказывания Леонтьева 1870—1880-х годов о социализме, идущем на смену господству буржуазного либерализма. В своей статье «Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве» (Сб. «Памяти К. Н. Леонтьева», стр. 187—234) Губастов дал весьма последовательный разрез жизни Леонтьева, многие выводы которого следует учесть при ознакомлении с биографией и идеологией Леонтьева. Дальнейшая дипломатическая карьера Губастова (в 1879 г. чиновник министерства иностранных дел в Варшаве, в 1880-х годах—генеральный консул в Вене и т. д.) привела его к посту посланника при римском папе и к должности товарища министра иностранных дел.—Губастову принадлежит ряд исторических работ по истории русских дипломатических отношений; он редактировал 140-й том «Сборника Русского Исторического Общества» (СПБ, 1912).

<sup>21</sup> С. П. Каткова, дочь известного писателя-сентименталиста начала XIX ст. кн. П. И. Шаликова (1768—1852), жена (с 1852 г.) М. Н. Каткова. «Тщедушная, маленького роста, она была очень дурна собой; образование ее не шло далее умения болтать по-французски, но все бы это еще ничего, если бы не образцовая ее глупость», — пишет апологет Каткова, Е. М. Феоктистов. — «Чем могла она подействовать на такого человека, как Катков? Княжеский титул ее ровно ничего не значил, состояния она не имела никакого, Шаликовы находились чуть не в нищете. Ф. И. Тютчев по поводу этого странного союза человека умного с глупою женщиной заметил однажды: «Что же, вероятно, Катков хотел свой ум посадить на дыбу». Сколько лет я был связан тесною дружбой с М. Н., но никогда не мог сойтись с его супругой. Она положительно действовала мне на нервы. Глупость кроткая, безобидная, пожалуй, примиряет с собой, другое дело глупость с претензиями, которых у С. П. Катковой было очень много и самых нелепых» (Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы. 1848—1896.» Л., 1929, стр. 87—88).

<sup>22</sup> В исторической теории, развиваемой Леонтьевым, утверждается триединый процесс развития: 1) первичная простота, 2) цветущая сложность и 3) вторичная простота. О третьем фазисе процесса Леонтьев пишет: «Если дело идет к смерти, начинается упрощение организма... Что бы развитие мы ни взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс) или живое цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и смерти второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют явления: упрощение остальных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее» («Византизм и славянство», гл. VI, Что такое процесс развития? — К. Леонтьев, т. V, стр. 191—192).

<sup>23</sup> «Русский Вестник» — ежемесячный журнал, основанный Катковым в 1856 г. и издававшийся им по день смерти. В 1850-х годах журнал, привлекавший лучшие литературные силы, был органом буржуазно-дворянского либерализма с англоманской окраской. С эпохи польского восстания журнал превращается в наиболее влиятельный и устойчивый консервативный ежемесячник, окончательно прекратившийся только в 1905 г. В 1870-х годах в «Русском Вестнике» участвовали Достоевский («Бесы» и «Братья Карамазовы»), Л. Толстой («Анна Каренина»), Лесков («Соборяне», «На ножах»), П. Мельников-Печерский («В лесах») и др. Вся художественная и публицистическая деятельность К. Леонтьева в 1870-х годах протекала, за редким исключением, в «Русском Вестнике». Фактическим редактором был проф. Н. А. Любимов; верховное руководство принадлежало Каткову.

<sup>24</sup> Федор Николаевич Берг (1840—1907), поэт, беллетрист, и журналист (псевдоним Н. Боев); начал в 1860 г. в некрасовском «Современнике»: в 1863 г. его роман «Закоулок» печатался рядом с «Что делать?» Чернышевского, — Берг кончил в 1905 г. редактированием черносотенного журнальчика «Родная Речь». Из радикала-«шестидесятника» Берг уже к концу 60-х годов успел превратиться в консервативного сотрудника «Русского Вестника», «Гражданина» и др. В 1870-х годах он редактировал «Русский Мир», с середины 1870-х по начало 1880-х — «Ниву», с 1887 г., после смерти Каткова, — «Русский Вестник». Во всех этих изданиях, в редакторство Берга, печатался К. Леонтьев.

<sup>25</sup> Под титулом «либеральный нигилизм» Леонтьев объединяет всю неконсервативную печать своего времени во всей пестроте ее политических и социальных оттенков, включая сюда умеренно-либеральный «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, народнические «Отечественные Записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова, радикально-разночинское «Дело» Г. Е. Благодетельова и буржуазно-

либеральные газеты «Петербургские Ведомости» В. Ф. Корша и «Биржевые Ведомости» П. С. Усова.

<sup>26</sup> Коммерческое училище на Остоженке.

<sup>27</sup> Михаил Никифорович Катков (1818—1887) — известный публицист-реакционер. В молодые годы он был членом философского кружка Белинского и Бакунина, сотрудничал в «Московском Наблюдателе» и «Отечественных Записках». В 40-х годах Катков примыкал к правому крылу западников. С 1851 г. Катков становится редактором (с перерывом в 1857—1862 гг.) арендуемых у университета «Московских Ведомостей»; в 1856 г. основывает «Русский Вестник», в котором делает первые опыты обсуждения политических вопросов в духе умеренного либерализма; с 1863 г. — со времени польского восстания, Катков делается самым влиятельным публицистом реакционного лагеря; к его мнениям прислушивались, как к подголосу русского правительства, политические деятели Запада. Отличаясь гибкою приспособляемостью к различным веяниям правящего Петербурга, Катков в общем выступал защитником неограниченного самодержавия и охранителем политического и экономического господства дворянства, как класса. В руках Каткова в 1870-х и 1880-х годах находилась инициатива многих реакционных мероприятий правительства.

Отношение К. Леонтьева к Каткову было двойственно. К Каткову — как к личности, как к редактору и издателю — Леонтьев относился с нескрываемым отвращением: в январе 1891 г. Леонтьев, указывая в письме к И. И. Фиделю на влиятельность Каткова-публициста, оговаривается: «Говорю все это вопреки моему личному расположению к покойному Каткову. Катков лично производил на меня впечатление самого не прямого, самого фальшивого и неприятного человека». («К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни», М. 1912, стр. 25). В более откровенных признаниях Т. И. Филиппову Леонтьев уточняет эти «впечатления» прямыми фактами. Получив назначение на должность цензора в Москве, Леонтьев писал 14 декабря 1879 г. в неизданном письме к Т. И. Филиппову: «Кстати о Каткове, — у него столько коммерческого цинизма в сношениях с сотрудниками (по крайней мере со мной), что он, пожалуй, цену удвоит мне за то, что я цензор». 26 февраля 1883 г. Леонтьев писал Филиппову: «Вы легко поймете, что значит зависеть исключительно от него (Каткова). Это истинная, должно быть, каторга. Я слава богу, в такой прямой зависимости от него не был, но и тех литературных и денежных отношений, которые я с ним имел, достаточно, чтобы вообразить, каково в иные минуты положение человека, стоящего в более тесной связи по должности и по пропитанию семьи с этим гениальным и пока еще незаменимым подлецом. Он способен, ни слова не говоря, перестать платить человеку и т. п.» (неизданное письмо).

О самобытности, глубине и силе Каткова, как мыслителя, Леонтьев также был отрицательного мнения: «У Каткова и тени нет смелости в идеях [разрядка Леонтьева], ни искры творческого гения, — он смел только в деле государственной практики и больше ничего» (неизданное письмо к Филиппову от 24 февраля 1882 г.).

Катков — «государственный практик», прямой активист реакционной «злобы дня» 1860—1880-х годов, — вот кто привлекал к себе внимание и полнейшее сочувствие Леонтьева. Это сочувствие в предельно откровенной форме выражено Леонтьевым в статье: «Катков и его враги на празднике Пушкина». («Варшавский дневник», 1880; Леонтьев, т. VII, стр. 198—219). В ней он писал, как истый представитель реакционнейшей из групп поместного дворянства, охраняющего свою привилегию быть классовой основой самодержавно-бюрократической государственности: «Катков стоит так одиноко и на такой высоте среди деятелей политической печати нашей, имя его в течение стольких лет было так тесно связано со всеми замечательными событиями современной истории русской, что говорить о нем и его врагах почти то же, что говорить о нашем государстве и его недоброжелателях, его изменниках». В дни открытия памятника Пушкину, когда Тургенев, при сочувствии всех радикальных и прогрессивных элементов русской общественности, отверг примирительно протянутую руку Каткова, а Общество любителей российской словесности не пожелало допустить депутата от «Московских Ведомостей» на пушкинские торжества, — Леонтьев демонстративно вносил предложение: «Отчего не поднесло тотчас же московское общество защитнику Церкви, Самодержавия и Дворянства (отчасти и народности) какого-нибудь вещественного выражения своего уважения? Если бы у нас, у русских, была бы хоть искра нравственной смелости и того, что зовут умственным творчеством, то можно было сделать и неслыханную вещь: заживо политически канонизировать Каткова. Открыть подписку на памятник ему, тут же близко от Пушкина на Страстном бульваре. Что за беда, что этого никто никогда и нигде не делал? Тем лучше — «Именно потому-то мы и сделаем». Пусть это будет крайность, пусть это будет неумеренная вспышка ре-

акционного увлечения. Тем лучше! Пора учиться, как делать реакцию». [разрядка везде Леонтьева]. В этом призыве к воздаянию «медной хвалы» Каткову, Леонтьев с яркостью высказывает то, за что так неслыханно готов превознести «публичного мужчину»: Катков — защитник Церкви, Самодержавия и Дворянства. Знаменитую уваровскую формулу «православие, самодержавие и народность» Леонтьев реакционизирует: «Дворянство», — неприкрытый никаким туманным покрывалом класс дворянства, ставит он на место туманной уваровской «народности»; ей дается в новой реакционной формуле лишь место жалкого приписка: «народность» ограничена у Леонтьева и словом «отчасти», и скобками, и маленькой начальной буквой. Однако и в этой своей беспримерной апологии Каткова Леонтьев, как и в частных письмах, заявляет, что его привлекает в Каткове лишь опытный практик-профессионал реакции, а никак не мыслитель: «Пусть не примут эти слова мои за чрезмерную лесть г. Каткову», — оповаривается Леонтьев. — Я уже не раз говорил, что я во многом с ним не согласен; и некоторые мнения его (слишком европейские по стилю) мне не выносимы и сильно раздражают меня» [разрядка Леонтьева]. Вне пыла и спешки политической минуты, после смерти Каткова, Леонтьев сформировал свое окончательное суждение о нем, высказав его в письме к самому близкому своему собеседнику — К. А. Губастову: «Катков самым родом своей деятельности, неустанною заботою о «злобе дня» съзид искусственно свой кругозор («le journalisme c'est le tombeau du génie» — журнализм — это могила для гения»). В мнениях его часто важно было не то, что говорит человек, а кто говорит. Ему верили в Петербурге, и его заслуга историческая не в прозорливости какой-нибудь (он все говорил для своего успеха во-время, для государства — поздно), а в том, что он умел свой колокол, в котором серебра было уж не так-то много, высоко и выгодно для акустики повесить. У него можно учиться ловкости и чутью, а не идеям. Ни в печати, ни даже в частных беседах я ни слова от него нового не слышал» (письмо от 1 июля 1888 г., «Русское Обозрение», 1897, кн. 3, стр. 452).

В этом суждении даже практическая роль Каткова существенно ограничивается Леонтьевым: все, что он проповедывал, как публицист, было уже «для государства поздно», т. е. практически бесполезно для разрушающейся дворянско-самодержавной «Империи Российской».

<sup>28</sup> Леонтьев с видимою охотою выписывает предельно резкий отзыв А. И. Герцена о Каткове. Подчеркивая политическую продажность Каткова и его газеты, Герцен называл его «полицейским содержателем публичного листка в Москве». С таким же сочувствием цитирует Леонтьев далее отзыв Герцена об Ив. С. Аксакове. Сложные отношения К. Леонтьева к А. И. Герцену еле намечены в статье проф. П. Ф. Преображенского: «Александр Герцен и Константин Леонтьев. Сравнительная морфология творчества» («Печать и Революция», 1922, кн. 2, стр. 78—88); марксистская разработка этой темы — дело будущего. К. Леонтьев был одним из прилежнейших читателей Герцена. С сочинениями его он не разлучался даже в афонской келье (К. Леонтьев. «Отшельничество, монастырь и мир. Четыре письма с Афона»). Сергиев Посад. 1913, стр. 3) и многократно обращался к мысли Герцена в своих сочинениях и письмах. Ярче и определеннее всего Леонтьев выразил свое отношение к Герцену в своих предсмертных «Письмах к Вл. С. Соловьеву»: «Со стороны исторической и внешне-жизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам. Разумеется, я говорю не о Герцене «Колокола»; этого Герцена я в начале 60-х годов ненавидел и даже не уважал; но о том Герцене, который издевался над буржуазностью и прозой новейшей Европы. Читая только Хомякова, Аксакова (даже скажу и Каткова отчасти), в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую в сущности стремится перейти и рабочий западный); Герцен же издевался прямо над этим общим и подавляющим типом человеческого развития. И следуя за ним по «средству природы», я придумал позднее и выражение «средний человек, средний европеец» и т. д. (Леонтьев имеет в виду свою работу «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения», начатую еще на Афоне и оконченную в самом конце 1880-х годов; Леонтьев, т. VI, стр. 1—81). Отклониться, по возможности, от того пути, который ведет к размножению этих средних людей и к господству их; сократить (а если можно, то и создать) наиболее разнообразные пути для развития человечества, вот о чем я мечтал тогда для России; вот на чем я остановился временно в конце 1860-х годов» (Леонтьев, т. VI, стр. 336; подобные же мысли еще более подробно развиты Леонтьевым в письме к Фуделю от 6 июля 1888 г., см. И. Фудель «Культурный идеал К. Н. Леонтьева», «Русское Обозрение», 1895, кн. I, стр. 262—264).

У Герцена и Леонтьева оказались некоторые точки соприкосновения в резком отрицании европейской буржуазии, враждебном неприятии всех путей ее



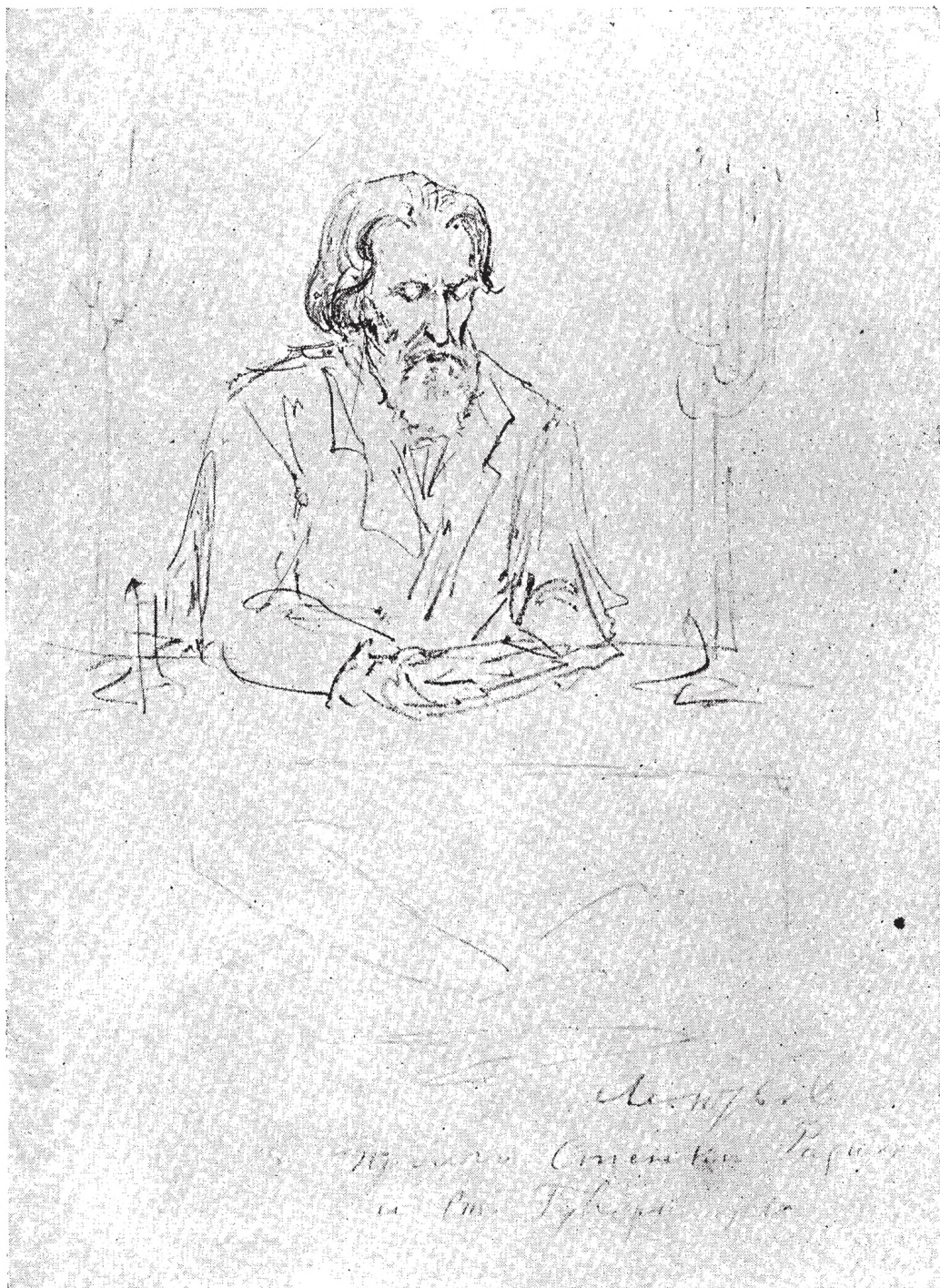
политического и культурного развития. М. Н. Покровский даже указывал, что к «самой мирной буржуазной культуре Леонтьев питал непримиримую, стихийную ненависть М. П[окровский]. «Леонтьев, К. Н.». Энциклопедический словарь Граната, 7-е перераб. издание, том XXVII, стр. 36—39). Торжество буржуазии представлялось Леонтьеву издевательством над человеческим разумом, банкротством истории: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, — спрашивал он, — что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабелами, что апостолы проповедывали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?» В свою очередь, Герцен признавался: «Я утратил веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации» («Былое и Думы», том IV). Утратив эту веру, Герцен обрел полу-народническую веру в Россию, как в новый мир культурно-государственного бытия. Герцен в русском народе и его общественном устройстве видел драгоценные залого будущего социалистического устройства, — и для того, чтобы доставить этим залогом возможность превратиться в социалистическую действительность новой России, готов был приветствовать все пути, ведущие к этому торжеству народно-социалистической России. Для Леонтьева, наоборот, своеобразие и самобытность русского «культурного типа» была связана с сохранением тех «охранительных» «русских» начал, какие он видел в настоящем: с сохранением и даже усилением суровой государственности, властно карающей церковности, строго регламентированной кастовой сословности, политическо-культурной диктатуры класса дворянства. Для утверждения «своеобразия» русского культурно-исторического и социально-экономического развития Герцену в конце концов была нужна революция. Леонтьеву нужна была умная, талантливая, но беспощадная реакция. «Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила», — говорил он. Частный пример покажет всю противоположность путей Герцена и Леонтьева. Русская крестьянская община для Герцена была этапом к социализму, и именно она внушила Герцену, по выражению Плеханова, «мысль об экономической самобытности» России, дающей нам возможность миновать «мещанскую дорогу западноевропейского развития» (Г. В. Плеханов. «Герцен». ГИЗ, 1923 г., стр. 83). Для Леонтьева крестьянская община была, наоборот, крепостной ячейкой, прикрепляющей крестьянина к земле и консервативному быту; это значение общины, в глазах Леонтьева, было усилено и закреплено, когда в деревне появился, как страж крестьянской «самобытности», земский начальник (см. статью Леонтьева в честь изобретателя «земских начальников» А. Д. Пазухина, — Леонтьев, том VII, стр. 412—426).

<sup>29</sup> Синодальная типография в Москве, на Никольской улице, была центральной государственной типографией для печатания богослужебных и религиозных книг. Должность директора, с большим окладом, в 1860-х годах занимал известный славянофил Н. П. Гиляров-Платонов.

<sup>30</sup> Гр. Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889) в 1874 г. занимал два поста — обер-прокурора святейшего синода (с 1865 г.) и министра народного просвещения (с 1866). Уволенный в 1880 г. от обеих должностей, он при Александре III с 1882 г. до смерти был министром внутренних дел. «Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции. Человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до крайних пределов» («Воспоминания Б. Н. Чичерина», М. 1929, стр. 192—193). Леонтьев ценил Толстого за то, что он «решал так смело и почти неожиданно приступить к перестройке расшатанного эгалитаризмом российского государственного здания» («Над могилой Пазухина», 1891; Леонтьев, том VII, стр. 412), за реакционную политику, направленную на реставрацию и утверждение дворянско-бюрократического полицейского государства.

<sup>31</sup> Михаил Константинович Ону (ум. 1901 г.), дипломат, приятель Леонтьева. Дипломатическая служба Ону, протекавшая на разных ступенях служебного восхождения (в 1874 г. в Константинополе он был первым драгоманом), завершилась местом посланника в Афинах, которое он занимал до смерти. Леонтьев признавал в Ону большого знатока жизни и быта народностей Балканского полуострова и поручил ему просмотр своего «Одиссея» для предполагавшегося издания на греческом языке. Б и л а т е р а л ь н ы й — двусторонний, говорящий на две стороны, двуличный.

<sup>32</sup> «Удивляюсь, дорогой мой, как это Вы — человек, одаренный таким воображением, — как Вы умудряетесь быть практичным консулом с умеренными взгля-



К. Н. ЛЕОНТЬЕВ ЧИТАЕТ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ У ГР. С. А. ТОЛСТОГО  
Карандашный рисунок Е. С. Селивачевой, 1884 г.  
Частное собрание, Москва

дами... Да и Ваши политические писания до крайности положительны... Видите ли, я сам человек практический...» и т. д. На это я ему отвечал смеясь: «Это очень просго. Дело в том, что я очень одаренный человек и обладаю множеством разнообразных ресурсов...»

<sup>33</sup> Столкновение брата Каткова с П. М. Леонтьевым наиболее полно изложено Незнакомцем (А. С. Сувориным) в его «литературном портрете» П. М. Леонтьева: «Последний год его жизни ознаменовался трагическим происшествием: брат М. Н. Каткова, Мефодий Никифорович, служивший в лицее, сделал покушение на жизнь Леонтьева; сторож лицея заслонил его собою и принял на себя те удары, которые предназначались директору. Из этого события друзья «Московских Ведомостей» старались сделать нечто необычайное и придали особую торжественность изъявлениям сочувствия к директору лицея по случаю избавления его от смерти. Что было причиной этого покушения—неизвестно; официально его объяснили душевною болезнью Мефодия Никифоровича, который был помещен в больницу душевно больных. Через некоторое время Мефодию Никифоровичу удалось избежать надзора и он намеревался покуситься снова на жизнь директора лицея, но на этот раз его во время остановили. Очутившись снова в больнице, несчастный стал помышлять о самоубийстве; от него отобрали все то, что могло бы дать ему возможность привести в исполнение свое намерение. Тогда он попросил повесить занавеску на окно своей комнаты, мотивируя свою просьбу тем, что ему неприятно любопытство посторонних, которые смотрят к нему в окно. Как только занавеску повесили, несчастный сделал из нее петлю и повесился» (Незнакомец [А. С. Суворин] «Очерки и картинки», Книга 2-я, СПб, 1875, стр. 60—61).

<sup>34</sup> Леонтьевым упомянуты следующие представители русской миссии в Константинополе в 1874 г.—посол при Высокой Порте (1864—1878) гр. Николай Павлович Игнатьев (1832—1908), впоследствии (1881—1882) министр внутренних дел.—Александр Иванович Нелидов (1835—1910) в 1874 г. советник посольства в Константинополе, впоследствии русский посол там же, в Риме и в Париже—и кн. Александр Константинович Мурузи—дипломат, впоследствии русский делегат в комиссии египетского долга.

<sup>35</sup> «Голос» — либеральная газета, издававшаяся в Петербурге с 1863 г. А. А. Краевским под редакцией историка В. А. Бильбасова. Закрыта правительством в 1883 г.

<sup>36</sup> Андрей Александрович Краевский (1810—1889), крупнейший предприниматель в области буржуазной газетно-журнальной промышленности, которому принадлежали виднейший журнал эпохи «Отечественные Записки» (1839—1868) и виднейшая газета «Голос» (1863—1883). Краевский своими предприятиями нажил огромное состояние. К. Н. Леонтьев был постоянным сотрудником «Отечественных Записок» Краевского до перехода их к Некрасову и Салтыкову. В «Отечественных Записках» им помещены романы, повести, очерки и статьи: «Лето на хуторе» (1855, кн. 5), «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» (1858, кн. 8), «Письмо провинциала к Тургеневу по поводу «Накануне» (1860, кн. 5), «Второй брак» (1860, кн. 4), «О сочинениях Марко Вовчка» (1861, кн. 3), «Подлипки» (1861, кн. 9—11), «В своем краю» (1864, кн. 5—7), «Ай-Бурун» (1867, кн. 7). С Краевским Леонтьева свел И. С. Тургенев, почти восторженно отнесшийся к первым художественным опытам Леонтьева (см. «Письма И. С. Тургенева и А. И. Герцена к А. А. Краевскому». «Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1890 г.», стр. 18) и весь первый — художественный — период литературной деятельности Леонтьева всецело связан с журналом Краевского.

<sup>37</sup> «Путешествие» Ф. Н. Берга — его «Заметки из путевой книжки» («Заря», 1869, кн. 10—11).

<sup>38</sup> Мария Владимировна Леонтьева (1848—1927), дочь писателя Владимира Н. Леонтьева (182[?]-1873). Еще девочкой двенадцати лет, «Маша» — М. В. Леонтьева — попадает уже в «Хронологию жизни» своего дяди — К. Н. Леонтьева и не исчезает из нее ни на один год, вплоть до смерти Леонтьева. Все важнейшие события внутренней и внешней жизни Леонтьева, его писательство и его идейные блуждания сплетаются неразрывно с М. В. Леонтьевой. По поводу книги К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и Славянство» М. В. Леонтьева напечатала под псевдонимом «Русская Женщина» статью «Женщина — женщине о новой книге» («Свет», 1886, № 96).

<sup>39</sup> «Кашпиревы» — София Сергеевна и Владимир Васильевич (1836—1875), редактор-издатель ежесычного журнала «Заря» (1869—1872), явившегося продолжателем направления журналов Достоевского «Время» и «Эпоха»; былое «почвенничество» в «Заре» осознало себя в печатавшейся в ней «России и Европе» Н. Я. Данилевского, как культурно-философскую систему самозамкнутой националистической государственности. В «Заре» сотрудничали Ф. М. Достоевский, А. Ф. Писемский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. Н. Страхов и др. К. Н. Леонтьев по-

местил в «Заре» рассказ «Хамид и Маноли» (1869, кн. 11) и статью «Грамотность и народность» (1870, кн. 11—12, под псевдонимом Н. Константинов).

<sup>40</sup> В своих «Очерках и рассказах из жизни лесного края», печатавшихся сперва в «Заре» («Незадача»—1870, кн. 12) и в «Русском Вестнике» («Необычайный случай», 1871, кн. 2, «Картины лесной жизни», кн. 12, «Хористы», 1872, кн. 4, «Каменный островок», кн. 7, «Ворон», кн. 9), а затем изданных отдельной книгой под заглавием: «Заозерье. Н. Боева» (СПБ, 1874), Ф. Н. Берг пытался изобразить «величие нравственных «устоев» старо-русской жизни, сохранившихся, будто бы, в северном крестьянстве. Леонтьев прав, находя, что это было своеобразным бегством от идей и мировоззрения передовых людей 1860-х годов, так как эти северо-лесные устои Берг противопоставлял шаткости «отрицательных» идей интеллигенции. Говоря о людях, «приведенных в отчаяние» поступательным движением радикального шестидесятничества, возглавлявшегося Н. Г. Чернышевским, Леонтьев имел в виду А. А. Фета, К. К. Случевского, А. Н. Апухтина, поэтов, замолкших в эту эпоху.

<sup>41</sup> Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864), известный критик, писавший в «Репертуаре и Пантеоне», «Москвитяине», «Русском Слове», «Времени», «Эпохе», «Якоре» и др. Григорьев резко враждебно относился к радикальным социально-политическим идеям 1860-х годов: писателей «Современника» и «Русского Слова» начала 1860-х годов он называл «тушищами», потомками «тушинского вора», второго самозванца, выдвинутого социальной революцией начала XVII ст. К. Н. Леонтьев высоко ценил критический талант Ап. Григорьева: «Придет время, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то без сомнения Григорьев иностранцам показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как талантливый прилагатель европейски идей к нашей литературе» (Леонтьев, т. VII, стр. 26). К. Н. Леонтьев оставил воспоминания об А. А. Григорьеве, не увидевшие света при жизни автора (напечатаны в «Русской Мысли» 1916 г. и перепечатаны в книге «Ап. Григорьев. Воспоминания», под ред. Иванова-Разумника. Academia, Л., 1930).

<sup>42</sup> Иван Николаевич Шредер (р. 1835), ученик П. К. Клодта и Н. С. Пименова, еще посещая классы Академии Художеств, вылепил 10 статуй для скомпанованного М. О. Микешиным памятника 1000-летия России (Новгород). Получив командировку в 1864 г. за границу для осмотра музеев, Шредер внезапно уехал в Америку и четыре года проработал в Южной Америке. Вскоре по возвращении в Петербург, в 1869 г., он получил звание академика. В дальнейшем Шредером исполнены были памятники—Екатерины II (Царское Село), Петра I и Александра II (Петрозаводск), адмирала Крузенштерна (Петербург), адмирала Беллингаузена (Кронштадт) и др.

<sup>43</sup> К 1874 г. Леонтьев успел напечатать в журнале Каткова следующие повести из жизни греко-турецкого востока: «Хризо» (1868, кн. 7), «Пембе» (1869, кн. 9), «Поликарп Костаки» (1870, кн. 9), «Аспазия Ламприди» (1871, кн. 6—9).

<sup>44</sup> Николай Алексеевич Любимов (1830—1897), профессор физики в Московском университете и реакционный публицист «Московских Ведомостей», ближайший помощник Каткова по изданию «Русского Вестника», впоследствии автор книги «М. Н. Катков и его историческая заслуга» (М. 1889)—представляющей апологию Каткова. «Особенно же много потрудился по изобретению мер «обуздания» университетской науки» (В. Михневич «Наши Знакомые», СПб, 1884 г., стр. 133).

<sup>45</sup> Николай Николаевич Воскобойников (1839—1882), публицист. Инженер по образованию, он был сотрудником М. Н. Муравьева по его «усмирительной» деятельности в Польше, откуда посылал в «Московские Ведомости» многочисленные корреспонденции. Сотрудничать же в изданиях Каткова начал еще раньше: еще в 1858 г. он напечатал в «Русском Вестнике» (кн. 7 и 8) статью «Ладожский канал». Деятельнейший член редакции «Московских Ведомостей», с 1875, после смерти П. М. Леонтьева, он сделался помощником главного редактора—Каткова.

<sup>46</sup> Осип Максимович Бодянский (1808—1877), знаменитый славист, профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете, приятель Гоголя и славянофильской семьи Аксаковых.

<sup>47</sup> «Складчина»—литературный сборник в пользу голодающих Самарской губернии, вышедший в марте 1874 г., при участии пятидесяти писателей всех направлений, начиная от крайнего правого фланга русской литературы—кн. П. А. Вяземского и К. П. Победоносцева и кончая левым флангом «Отечественных Записок»—Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым.

<sup>48</sup> Кохановская—псевдоним Надежды Степановны Соханской (1823—1884). Ее повести, печатавшиеся в 1850—1860-х годах в «Русском Вестнике», «Отечественных Записках» и в «Дне» И. Аксакова, вышли в 1863 г. в двух томах.

В «Складчине» под вычурным названием «Кроха словесного хлеба» помещена повесть Кохановской из времен Екатерины II, из идеализированного быта провинциального и вельможного дворянства. В критическом этюде «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого» («Русский Вестник», 1890, кн. 6—8) Леонтьев писал: «У нас, начиная с конца 40-х годов и до сих пор, женские таланты меньше поддались влиянию гоголевщины и натуральной школы вообще. Самые даровитые из наших женщин-авторов—Евгения Тур, М. Вовчок и Кохановская—по форме, по стилю, по манере все три больше уклонились от этого принижающего давления, чем более богатые и более содержательные таланты современных им мужчин. Повести Тур написаны языком чистым, простым, — старо-дворянским, так сказать». Упомянув о «нежной, кружевной и гармонической речи М. Вовчка», Леонтьев продолжает: «Кохановская тяжелее их, местами даже гораздо грубее. Но зато ее поэзия так могущественна и самобытна, ее язык местами так живописно-оригинален и страстен, что за некоторые неровности в изложении она вознаграждает сторицей... Иногда она напоминает и что-то гоголевское, — но какое? Она напоминает положительные стороны великой гоголевской музыки: его мощный пафос, его выразительные, лирические, пламенные отношения к природе» (Леонтьев, т. VIII, стр. 322—323).

<sup>49</sup> «Одиссей» — см. выше — «Долгарский вопрос» — статья Леонтьева — «Византизм и славянство» — см. выше.

«Матвеевым» Леонтьев называет, по имени главного героя, свой роман «Две избранницы». Роман этот был написан в 1870 г. (см. неизд. письмо к Т. И. Филиппову от 3/VI 1885 г.) — и был, по словам Леонтьева, «отвергнут и Юрьевым для «Беседы», и Катковым для «Русского Вестника». Роман начал в 1885 г. печататься в иллюстрированном журнале «Россия» в Москве, но здесь была напечатана только 1-я часть, 2-я сохранялась в бумагах Леонтьева, а 3-я доселе неразыскана. В 1880-х годах Л. исправлял и дополнял старый роман. Замысел романа очень прост, как фабула, и очень сложен, как психологическая задача. «Нигилистка» Соня, девушка страстной натуры и большого и прямого ума, лишенная у Л. даже тени обычного реакционного окарикаривания молодежи 1860-х годов, любит молодого полковника, а потом генерала, Матвеева, — человека умного, властного, с большими эстетическими требованиями к жизни. — Генерал женат. История его женитьбы чрезвычайно похожа на историю женитьбы самого Л-ва: он любит свою жену, простую красавицу-молдаванку, — но любит и Соню. Он предлагает Соне необычный исход. Соглашаясь на него, Соня пишет письмо жене Матвеева: «Ни вы, ни я не можем каждая отдельно наполнить жизнь вашего мужа — ему слишком много надо. Он слишком выше нас обеих (это, я думаю, вы мне простите). Обе же вместе мы можем составить для него такое счастье, какое еще люди не видывали и не испытывали. Я буду жить у вас как сестра — не больше, и прошу вас еще только об одном: если вам не понравится что-нибудь, если тогда жизнь будет вам тяжела — скажите мне дружески и прямо, я тотчас же уеду, и никого кроме судьбы винить не буду. Главное — чтобы мы ни в чем не винули друг друга».

На предложении жене Матвеева этого опыта свободы, очень схожего с тем, какой изображен в повести Леонтьева «Исповедь мужа», кончается сохранившаяся в рукописи 2-я часть романа. В нем всего четыре действующих лица; эпизодических лиц крайне мало; сценарий его упрощен до предела; элемент описаний почти отсутствует. Из изложения изгнано все, что по терминологии Леонтьева напоминало бы слишком яркую и подчеркнутую выразительность письма последователей гоголевской школы.

Межеумочное положение Леонтьева, как беллетриста, ярко сказалось на судьбе «Двух избранниц»: для либерально-славянофильской «Беседы» (1871—1872) роман оказался слишком правым, для катковского «Русского Вестника» он был неприемлем потому, что, не ведя нападения на «нигилистов» на манер Клюшников, Лескова, Вс. В. Крестовского и др., Леонтьев давал такое разрешение вопроса о браке и любви, которое отнюдь нельзя было назвать консервативным.

Здесь уместно вспомнить меткое замечание М. Н. Покровского о литературной судьбе К. И. Леонтьева: «Громкую известность он приобрел, как публицист. Известность эта очень помешала оценке Леонтьева, как писателя, современниками; Леонтьев — талантливый беллетрист, Леонтьев — оригинальный и меткий критик — все это закрылось в глазах читателей образом Леонтьева, яростного апологета крепостного права во всех его проявлениях и проповедника «сладострастного культа палки» (слова И. С. Аксакова). Позднейшая после смерти Леонтьева литература о нем представляет собою реакцию против этого ходячего взгляда» (Энциклопед. словарь А. Граната, 7-е перераб. изд., том XXVII, стр. 35—39). М. Н. Покровский дает К. Леонтьеву следующее место среди публицистов правого лагеря: «Автор Московского сборника» (К. П. Победоносцев) был не последним русским публицистом по талантовости. Менее яркий и оригинальный, чем Константин Леонтьев, он был содержательнее и глубже Каткова, много живее и самостоятельнее Данилев-

ского, спокойнее и уравновешеннее Достоевского публициста» («Письма Победоносцева к Александру III». С предисловием М. Н. Покровского, том I, М. 1925, стр. VI).

<sup>50</sup> Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886), известный поэт, публицист и общественный деятель славянофильского лагеря.

О своем отношении к славянофильству И. С. Аксакова в начале 1870-х годов Леонтьев писал: «Я находился под влиянием книги Данилевского «Россия и Европа». С учением Хомякова и И. С. Аксакова я был уже давно тогда знаком в общих его чертах, и оно «говорило», так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я отчасти видел, отчасти только чувствовал в нем что-то такое, что внушало недоверие. Оно казалось мне и тогда уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы достаточно отделять нас (русских) от новейшего Запада. Другая же сторона этого ученья, внушавшая мне недоверие и тесно связанная с первой, — была какая-то односторонняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным и не эстетическим. Со стороны государственности меня гораздо больше удовлетворял Катков уже тем одним, что не искал никогда, как Аксаков, чего-то туманно возвышенного в политике, а пользовался теми силами, которые находились у нас под рукой. Со стороны не исторической и внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем настоящим славянофилам» (Леонтьев, том VI, стр. 335—336).

<sup>51</sup> Кн. Владимир Александрович Черкасский (см. выше).

<sup>52</sup> Дмитрий Федорович Самарин (1831—1901), брат известного славянофила Юрия Федоровича (1819—1876). Разделяя воззрения своего брата, Дмитрий Самарин, подобно ему, принимал деятельное участие в городском и земском самоуправлении и писал по церковно-общественным, городским и земским вопросам.

<sup>53</sup> Василий Сергеевич Неклюдов (1818—1880), камергер, действительный статский советник, сотрудник «Русского Вестника» по политическим вопросам («Современные политические заметки», «Русский Вестник», 1876, кн. 9, 10, 11, 12). В. Неклюдову принадлежит сочувственный отзыв о повестях Леонтьева: «Литературная заметка. Из жизни христиан в Турции. Повести и рассказы К. Н. Леонтьева» в «Московских Ведомостях», 1876, № 100.

<sup>54</sup> Две статьи К. Леонтьева «Панславизм и греки» («Русский Вестник», 1873, кн. 2) и «Панславизм на Афоне» (там же кн. 4) подписаны псевдонимом «Н. Константинов».

<sup>55</sup> И. С. Аксаков подвергался, как поэт, публицист и редактор, длительным и систематическим преследованиям цензуры и правительства Николая I и Александра II. Еще до появления в печати его поэмы «Бродяга» ему пришлось держать за нее ответ в 1849 г. перед II Отделением. После выхода I тома «Московского сборника» (1852), редактированного И. Аксаковым, который поместил в нем и отрывки из «Бродяги», продолжение этого издания было запрещено, а Аксаков лишен был права быть редактором какого бы то ни было издания. В 1858 г. И. Аксаков неофициально взял на себя редакцию «Русской Беседы» и с него было снято запрещение быть редактором, но уже в следующем году (1859) начатая им еженедельная газета «Парус» была запрещена после выхода второго номера. В 1861—1866-х годах Аксаков издавал «День», непрерывно и упорно теснимый цензурой (см. подробности в письмах И. С. Аксакова к гр. А. Д. Блудовой в издании «И. С. Аксаков в его письмах», т. IV, СПб., 1896, стр. 181—256), при чем в 1862 г. Аксаков был временно отстранен от редакторства.

В 1867 г. им была начата газета «Москва»; просуществовав неполных два года, газета подверглась в это время девяти предостережениям и трем приостановкам — в общей сложности на тринадцать месяцев. Аксаков пытался в один из подневольных перерывов (с 23 декабря 1867 г. по 14 февраля 1868 г.) издавать газету «Москвич». После третьей приостановки «Москвы» на шесть месяцев по приказу министра внутренних дел «за вредное направление», Аксаков принес в Сенат жалобу на министра; несмотря на то, что Сенат после длительных обсуждений стал на сторону Аксакова, дело было перенесено в Государственный совет, который согласился с министром, с нелепой оговоркой, что «хотя газета и запрещается, однако направление ее по существу нельзя признавать вредным». С закрытием «Москвы» Аксаков в отношении издательской деятельности на поприще журналистики оставался под запрещением целых двенадцать лет. Все хлопоты его и друзей его снять это запрещение не имели успеха до самого 1880 г. («Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова», М. 1888, стр. 7—29). С 1880 по смерть И. С. Аксаков издавал «Русь».

<sup>56</sup> М. Катков и П. М. Леонтьев были инициаторами, вдохновителями и упорными проводниками учебной реформы 1871 г., положившей в основу средней школы усиленное изучение классических языков. «Д. Толстой (министр народного просвещения), известный крепостник, явно высказывал свою нелюбовь к просве-

щению, в особенности простого народа... Едва ли он имел собственное мнение о лучшем способе образования в общественных учебных заведениях, а потому в этом деле вполне подчинился редакторам «Московских Ведомостей» — Каткову и Леонтьеву, которые полагали единственным способом образования изучение классических языков. В этом была и задняя мысль: Толстой и шеф жандармов гр. П. А. Шувалов надеялись излишним изучением древних языков отнять у большей части молодых людей не только охоту, но и возможность оканчивать свое образование в университетах, так как в них могли поступать только окончившие с успехом курс в классических гимназиях; окончившие курс в реальных гимназиях были лишены права на поступление в университет. В проекте Толстого, представленном в Государственный совет, намекалось на то, что реальные науки ведут к нигилизму и к непризнанию властей. По отчету Д. А. Толстого за 1873 г. оказалось, что «вследствие этих мер число студентов в университетах убавилось 1160-ю, а число гимназистов высшего класса, не получивших аттестата об окончании курса в гимназиях, дошло до 4000». (А. И. Дельвиг «Полвека русской жизни». Воспоминания, 1820—1870. М.—Л. 1930, т. II, стр. 553—559).

<sup>67</sup> И. С. Аксаков служил в Калуге в 1845—1847-х годах, товарищем председателя уголовной палаты; в то время (1845—1851) губернатором там был Н. М. Смирнов (1807—1870), муж фрейлины Александры Осиповны Россет (1809—1882), приятельницы Пушкина, Жуковского, Гоголя, Лермонтова. Молодой И. С. Аксаков, как видно из его писем к отцу, часто бывал в семье калужских помещиков Семена Яковлевича и Варвары Михайловны Унковских: «Это дом довольно приятный. В нем вовсе не играют в карты, но занимают гостей музыкой и разговорами. Главное, что там могу я найти много книг для чтения, а английских сколько угодно. Унковский сам довольно интересный человек. Пробыл в Англии слишком два года. Говорит и знает по-английски превосходно, страстный поклонник всего английского, страстный почитатель Диккенса. В самом деле, человек он прекрасный, препотенный, добрый, образованный» (письмо от 7 сентября 1845 г.) (И. С. Аксаков в его письмах, т. I, М., 1888, стр. 236, 271). «У Унковских мне совершенно свободно, бесцеремонно, мне всегда рады, я почти как свой, и в самом деле трудно найти семейство более русское и простодушное. Все они, не исключая и сыновей, люди невозмутимо верующие, добрые, честные. Дочери славные девушки, я люблю в них всякое отсутствие претензий» (письмо от 3 ноября 1845 г.).

<sup>68</sup> Леонтьев начал своё школьное образование в так называемом Дворянском полку. В неизданной «Хронологии моей жизни» читаем: «Осенью 43-го года и зимой 44-го года кадет; в дворянском полку. Весною 44-го года отпуск; в Кудинове; Приготовление из Латинского языка в 3 класс Калужской гимназии. Осенью 44-го года поступление в Калужск. гимназию 3 класс. 44—45 академический год. 45—46 академический год 4-го класс. 46—47. Академ. год. 5-й класс». Леонтьеву при калужских встречах с И. С. Аксаковым было 14—16 лет.

<sup>69</sup> После окончания Крымской кампании 1854—1856 гг., которую Леонтьев проделал военным врачом, он зимою 1856 г. взял шестимесячный отпуск и поселился у богатого помещика, известного ученого сельского хозяина и общественного деятеля, И о с и ф а Н и к о л а е в и ч а Ш а т и л о в а (1824—1889), в его имении Тамак, на берегу Сиваша. «Я долго жил в степном имении Шатилова. Прекрасное имение. Я лечил его крестьян и соседей за годовую плату. Я катался верхом, гулял, читал. Здесь наконец я стал опять писать на покой. У Шатилова я много занимался сравнительной анатомией и медициной. Сам Шатилов влиял на меня в этом отношении. Он был страстный орнитолог, у него был прекрасный музей крымских птиц; я еще в гимназии обожал зоологию, и мы сошлись. Я читал у него Кювье и Гумбольдта и, мне кажется, чуть ли не думал внести в искусство какие-то новые формы, на основании естественных наук» («Мои дела с Тургеневым и т. д. (1851—1861)». Леонтьев, том IX, стр. 150—151). И. С. Аксаков посетил имение Тамак в 1856 г., когда ездил по Крыму в качестве члена следственной комиссии по делу о злоупотреблениях интенданства во время войны, находившейся под председательством кн. Виктора Ивановича Васильчикова. 23 июля 1856 г. Иван Сергеевич писал отцу: «Здесьние помещики большею частью получили огромные доходы; Шатилов (которого, впрочем, я еще не видал) составил себе огромный капитал одною продажей сена». В письме от 19 августа читаем: «Из Керчи великолепную степною дорогою приехал я на Сиваш или Гнилое море к Шатилову в его имение Тамак, где очень приятно прожил полторы суток... Славный человек Шатилов и не пошло проводит время, очень много читает и занимается, преимущественно естественной историей» («И. С. Аксаков в его письмах», т. III, М., 1892 г., стр. 266, 277).

<sup>60</sup> Леонтьев, близко наблюдавший болгарскую интеллигенцию и буржуазию в Адрианополе и Константинополе, в целом ряде статей («Панславизм и греки», 1873, «Византизм и славянство», 1875, «Русские, греки и юго-славяне», 1878, «Наше болгаробесие», 1879) доказывал, что обычное славянофильское представление о болгарях, как о свежем и молодом «народе», призванном, под руководством рус-

ского славянофильства, явить новые возможности в области славянской культуры и государственности, не соответствует действительности. Леонтьев настаивал на том, что Болгария европеизируется на западный манер, т. е., говоря точнее, идет обычным путем буржуазного развития. Имея в виду наблюдения Леонтьева над болгарскими и цитируя одно место из его статьи «Панславизм и греки», М. Н. Покровский писал: «Глава славянского комитета, Аксаков должен был признаться, что на 12—15 человек болгар, учащихся в Москве, приходится несколько сотен болгар, слушающих лекции в германских и французских университетах. А люди, наблюдавшие «забытое и забытое» племя вблизи, находили, что болгарская интеллигенция очень напоминает европейскую буржуазию и, что было еще ужаснее, совершенно не сознает ближайшей исторической миссии славянства: изгнать турок из Европы и водрузить православный крест на св. Софии (далее, идет цитата из Леонтьева). Когда султан стал на сторону болгар, в их церковной распри с греками, он сделался прямо популярен среди этой интеллигенции, «болгарские учителя внушали своим питомцам одновременно ненависть «грецкому патрику», т. е. православному патриарху Константинополя, и преданность к «отеческому правительству султана, спасающему болгар от греков» [слова Леонтьева] (М. Н. Покровский). «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии». Из-во «Красная Нива», Главполитпросвет, М., 1923, стр. 251). По определению Леонтьева, болгарская буржуазия представляла собою «противное соединение» хищно-приобретательской, кулацкой грубости («Собакевич») с перенимаемыми из Европы формами внешней культурности и либерального республиканского парламентаризма, олицетворяемых Леонтьевым в образе знаменитого французского адвоката и политического деятеля Леона Гамбетта (1838—1882).

<sup>61</sup> Остров Халки, на Босфоре, под Константинополем, нечто вроде дачного места. Леонтьев жил на Халках в 1873—1874-х годах. «Я жил близко от знаменитой богословской халкинской академии (греческой),—пишет Леонтьев в неизданной «Исповеди»,—был дружен с монахами профессорами; ректором митрополитом Анхиольским любим; не раз или два-три раза, не помню, имел от него секретные поручения к Игнатьеву. Я очень часто бывал в Академии у вечерни и у обедни и потом, беседуя по-долгу с ректором и профессорами, многому у них научился и свои понятия о церкви уяснил».

— Федор Степанович Бурмов (1824—18[?])—болгарский государственный деятель и видный публицист. Окончив «Московский университет, он основал в Константинополе журнал «Время» (1861). Из Константинополя Бурмов посылал корреспонденции в «Московские Ведомости» Каткова. При князе Александре Батенбергском Бурмов достиг высших политических постов—председателя совета министров и министра внутренних дел Болгарии.

<sup>62</sup> Эта мысль Леонтьева параллельна основной мысли Н. Я. Данилевского (1822—1885): «Славяне, подобно своим старшим, на пути развития, арийским братьям, могут и должны образовать свою самобытную цивилизацию. Славянство есть термин одного порядка с Эллинизмом, Латинством, Европеизмом—такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны бы иметь тот же смысл, который имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе,—какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции. Всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели славянство не будет иметь этого высокого смысла, то оно не будет иметь никакого, что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одним из славянских народов, есть только мыйный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток—ибо цивилизация не передается (в едином истинном и плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, т. е. стать на ступень развитого культурно-исторического типа—живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, потерять свой формальный или образовательный принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше» («Россия и Европа», изд. 3-е, СПб, 1888, стр. 130—131).

<sup>63</sup> Леонтьев называет здесь основоположников и зачинателей учения славянофилов—Алексея Степановича Хомякова (1804—1860), Ивана Васильевича Киреевского (1808—1856) и Константина Сергеевича Аксакова (1817—1860).

<sup>64</sup> Александр Иванович Кошелев (1806—1883), публицист и общественный деятель славянофильского стана, в молодости «архивный юноша» и «любомудр»,—благодаря своему крупному состоянию (имение и винные откупы) финансировал славянофильские издания—«Русскую Беседу» (1856—1860), «Сельское Благо-



устройство» (1858—1859) и «Беседу» (1871—1872). Последний журнал издавался под редакцией Сергея Андреевича Юрьева (1821—1888) и имел целью объединить славянофилов и западников на общей туманно-либеральной платформе гуманистического народничества; в журнале принимали участие на ряду с Погодиным и Писемским—Костомаров и С. М. Соловьев.—Статья А. И. Кошелева—«В чем мы более всего нуждаемся?» помещена в 8-й книжке «Беседы» за 1871 г.

<sup>65</sup> Пытаясь найти «самобытные» основы «православно-русской общественности», противопоставляемой западной демократии, славянофильство выдвигало, как первую ячейку такой общественности, «православный приход»—самоуправляющуюся организацию населения вокруг местного храма. (См. брошюру Д. Самарина «Приход», М., 1867.) «Русский народ», еще раньше поучал К. Аксаков Александра II, «отделив от себя государственный элемент, предоставив полную государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокая цель которой есть: общество христианское» (Записка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», представленная Александру II в 1855 г.—«Теория государства у славянофилов. Сборник статей». СПб., 1899, стр. 27). Приходы, по мысли продолжателей К. Аксакова, и суть общины, из которых слагается такое общество. В виду того, что в синодальном периоде русской церкви, начавшемся с Петра I, архиерейская власть присвоила себе назначение священников в приходы, славянофилы 1860—1870-х годов, опираясь на до-петровскую практику, поддерживали мысль о необходимости предоставления приходам права избрания священников. Приходская реформа, в глазах славянофилов, была лучшим средством застраховать крестьянство от низовых форм буржуазной демократии и тем более от идей революции.

<sup>66</sup> «Своеобразие» и «самобытность» русской церкви видятся здесь Леонтьеву как раз в тех сторонах ее бытового уклада и административной организации, которые связаны с окончательным подчинением церкви самодержавно-дворянскому государству и правящей бюрократии, что произошло еще при Петре I и Екатерине II. Древне-русской выборности приходского духовенства Леонтьев противопоставляет то фактическое положение, существовавшее в его время, когда приход являлся ничем иным, как приданым за дочерью умершего, а иногда и ушедшего на покой священника («Левитство» — от библейского «колена Левинова», наследственно служившего при храме иерусалимском). В противоположность И. Аксакову, резко нападавшему на установившееся с Павла I награждение высшего духовенства орденами, Леонтьев любит орденоносцами правящей архиерейской бюрократии. Идеалом православного архиерея Леонтьев выставляет реакционнейшего Филарета (Дроздова), митрополита московского (1782—1867). Церковно-государственные и политические воззрения Филарета, до конца жизни оставшегося крепостником, защитником телесных наказаний и противником распространения даже начальной грамотности в народе, Катков выставлял образцом политической мудрости. В «Московских Ведомостях» 1882 г., а затем отдельным изданием, под заглавием «Государственное учение Филарета, митрополита московского» (М., 1883), появились выдержки из сочинений и писем Филарета, систематизированные В. Н. (азаревским), известным реакционером. К книге этой Леонтьев относился с полным одобрением и похвалой и не раз возвращался в своей переписке и в своих статьях.

<sup>67</sup> «Новый Иерусалим—монастырь под Москвой в б. Волоколамском уезде, основанный в XVII в. патриархом Никоном, был один из богатейших и известнейших в России. Им управлял в 1874 г. архимандрит Леонид, «в миру»—Лев Александрович Кавелин (1822—1891), происходивший из калужских дворян, известный археолог и археолог, одно время бывший настоятелем церкви при посольстве в Константинополе. «Киновиальная Угреша», в 15 верстах от Москвы, основанный в XIV в. Настоятелем его был архимандрит Пимен («в мире»—П. Д. Мянников, из купцов, 1810—1880), автор объемистых «Воспоминаний» (М., 1877, изд. О-ва истории и древностей российских). С обоими архимандритами связаны неудачные попытки Леонтьева принять монашество. От Леонида Леонтьев встретил прямой отказ (см. письмо к нему Леонтьева, «Русское Обозрение», 1893, кн. 9); перед самою смертью Леонтьева, Леонид, бывший тогда наместником Троице-Сергиевской лавры, не разрешил Леонтьеву, уже бывшему в тайном постриге, поселиться в лавре. «Он не особенно благоволил к моему другу, — вспоминает К. А. Губастов. — Леонид был человек властный, мелочный и обидчивый» (Сб. «Памяти Леонтьева», СПб. 1911, стр. 223). Пимен, наоборот, с первой встречи, прошедшей в 1874 г., в Москве, тотчас по приезде Леонтьева с Афона, — звал его к себе в монастырь. Неудачи с устройением своих литературных и денежных дел, которыми сопровождалось пребывание Леонтьева в Москве, описываемые в печатаемых воспоминаниях, те «бедствия», как их обозначает Леонтьев в «Хронологии жизни», привели его в Угрешский монастырь, где он, в качестве послушника, и провел зиму 1874/1875 г. Зима эта познакомила Леонтьева с тем, что на деле представлял русский «общежительный» монастырь второй половины XIX ст. «Телесно мне через 2 месяца стало невыносимо. потому что денег не было ни рубля, а к

общей трапезе я никак не мог привыкнуть... Ел только, чтобы прекратить боль в желудке, а сытым быть—и забыл как это бывают сыты... Отец Пинен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройку собирать щепки... Братия была груба и завистлива. Старались подвести и нарочно очень худо говорили об игумене, а я защищал его и просил оставить эти разговоры» («Исповедь», неиздано). Дошедши до крайнего изнеможения, больной Леонтьев покинул Угрешу весной 1875 г.

<sup>68</sup> Все, упоминаемые ниже деятели адвокатуры и журналистики, называются Леонтьевым в качестве образцов ненавистного ему буржуазного либерализма. А. В. Лохвицкий (1830—1884), профессор-юрист, автор трудов «О пленных по древне-русскому праву» (1855); «Обзор современных конституций» (1862—1863), «Курс русского уголовного права» (1868) и др., перешел в 1869 г. в ряды адвокатуры и сделался одним из наиболее типичных представителей буржуазно-либеральной адвокатуры, обобщенных Салтыковым в сатирический образ «Балалайкина». «Лохвицкий неувыдаемо блистал в 1860—1870-х годах на поприще софистики, казуистики, анекдотистики, включительно чуть не до эквилибристики, неизменно фигурировал в карикатурах сатирических листков, что не помешало ему невозмутимо срывать успехи и куши» (Вл. Михневич. «Наши знакомые». СПб., 1884, стр. 131). Федор Никифорович Плевако (1843—1910), знаменитый московский адвокат, в молодости либерал, прославившийся своей речью против игумены Митрофании (баронесса Розен), обвинявшейся в подлогах и хищениях (1874); в конце жизни — крупный собственник, «староста» московского Успенского собора, октябрист, член государственной думы 3-го созыва (1907).

<sup>69</sup> «Бриссотисты» — политические сторонники одного из виднейших деятелей великой французской революции Жана Пьера Бриссо (Brissot de Warville, 1754—1793), вождя жирондистов. Бриссо был вождем наиболее прогрессивной части буржуазии, стремившейся к ограничению королевской власти, но испытывавшей страх перед властью народных масс.

<sup>70</sup> «Самарин» — Дмитрий Федорович, см. выше. «Васильчиков» — князь Петр Алексеевич (1829—1898), брат кн. Е. А. Черкасской, жены Владимира Александровича (см. выше); Васильчиков издавна был близок к славянофильским кругам.

<sup>71</sup> Графиня Анна Алексеевна Баранова, жена гр. Павла Трофимовича Баранова (1815—1864), была сестрой не кн. В. А. Черкасского, как пишет Леонтьев, а его жены, Екатерины Алексеевны, урожденной Васильчиковой.

<sup>72</sup> Профессор канонического права Петербургской духовной академии Тимофей Вас. Барсов; в 1870 г. он был назначен членом комитета по преобразованию управления и суда, ратуя за его реформы на «канонических» основаниях (статья в «Христиан. Чтении» и «Странник» 1870—1875-х годов).

<sup>73</sup> Николай Васильевич Елагин (1817—1891), духовный писатель, цензор, издатель анонимных записок «Белое духовенство и его интересы», встреченных в духовных журналах, как «хула» на духовенство, и книги «Дух и заслуги монашества для церкви и государства» (СПб., 1874 г.), представляющей апологию монашества. Леонтьев имеет в виду именно эту книгу. Елагину приписывают обычно заграничные издания: «Русское духовенство» (Берлин, 1859) и «Искандер-Герцен» (там же, 1859).

<sup>74</sup> Нил Александрович Попов (1833—1891), историк и славист, с 1860 г. профессор Московского университета по кафедре русской истории, автор двух диссертаций «Татищев и его время» (1861, магистерская) и «Россия и Сербия» (1869, докторская), сотрудник «Русского Вестника», «Московских Ведомостей», «Москвы» И. Аксакова, «Вестника Европы», «Отечественных Записок», «Беседы» и др. Попов много писал по текущим вопросам славянской жизни и политики.

<sup>75</sup> Леонтьев имеет в виду свой труд «Византизм и славянство».

<sup>76</sup> Анна Федоровна Аксакова, дочь Ф. И. Тютчева (1829—1889), автор записок «При дворе двух императоров» (М., 1928 и 1929 г.).

<sup>77</sup> Кн. В. А. Черкасский был в Польше правою рукою Н. А. Милютина, специально призванного Александром II во время польского восстания, для спешного проведения крестьянской реформы: эмансипация крестьян волею и властью русского правительства со щедрым наделением землей из владений помещиков должна была бросить крестьянское население Польши и Литвы в «верноподданничество» русскому царю. 19 февраля 1864 г. было подписано Александром II положение о наделении крестьян землею. После его обнародования Черкасский занял должность директора Комиссии внутренних и духовных дел в Варшаве, — должность почти равносильную министерскому посту. Черкасский круто проводил в жизнь демагогические начинания русского правительства, — и вместе с тем

уничтожал все остатки автономии Польши. По оценке И. Аксакова, при управлении Черкасского, «впервые почувяли польские мятежные паны и ксендзы присутствие новой, не проявлявшейся доселе силы и мысли и сознательной воли. Русское знамя поручено было твердой и умной руке. Зато какой дружный поход озлобленной ненависти воздвигло против себя это новое невиданное пугало—русизм—не только в польской среде, но и в Риме, и в Австрии» (Сочинения И. С. Аксакова, т. I, М., 1886 г., стр. 291).

В 1867 г. Черкасский вышел в отставку. В том же году в Москве происходил первый славянский съезд, имевший официальной задачей вывить культурное единение славянских народностей, на деле же организованный славянофилами с целью демонстрации политического собирания славян под главенством России. На съезде не присутствовало ни одного поляка. Польская народность—как провинившаяся пред царской Россией—была как бы вычеркнута из состава славянства. О ее существовании на обеде, данном в честь славян 21 мая, в Сокольниках, напомнили два члена съезда: знаменитый деятель чешского возрождения, Франц Ладислав Ригер (Rieger, 1818—1897), один из основателей старо-чешской партии, защитник федеративных требований чехов, и М. П. Погодин, сказавший: «Я произнес имя поляков, но где же они? Я не вижу здесь никого. Увы, они одни из славян стоят далече, и бросают на нас суровые взгляды. Нужды нет, бог с ними. Мы не исключаем их из нашей семьи...» (М. П. Погодин. «Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний 1831—1867». М., 1868, стр. 232—233). Черкасский отвечал Ригеру и Погодину длинной речью, в которой после исторической справки о двух подавленных Россией польских восстаниях, утверждал: «Россия покончила, она порешила раз навсегда, бесповоротно, наши старые, исторические счеты... Нет той силы на свете, которая могла бы переменить установившиеся ныне государственные отношения России к Польше». В речи Черкасского нет слов, приводимых Леонтьевым, но, исчисляя «благодетия», оказанные Польше правительством Александра II в области суда, школьного дела, финансов и т. д., Черкасский упорно называл Польшу «Привислинским краем» и «привислинскими губерниями», подчеркивая этим утерю Польшей последней тени государственной самостоятельности, еще сохранявшейся в факте полуофициального существования «Царства Польского», образованного при Александре I («Кн. В. А. Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем». М., 1879, стр. 283—288).

<sup>78</sup> «Что такое славизм? Ответа нет! Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя и не совсем чистой) и сходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, т. е. такого, под которым бы разумелись, как в квинт-эссенции, все отличительные признаки религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры. Скажите: китаизм, китайская культура—всякому более или менее ясно... Где же подобная ясная, общая идея славизма? Где соответственная этой идее яркая и живая государственная картина?» («Византизм и славянство», гл. III.—Леонтьев, т. V, стр. 148—150).

<sup>79</sup> В том же 1874 г. Леонтьев так писал о чехах, их культуре и политических устремлениях: «У нас принято говорить им (чехам) всякого рода лестные вещи; писатели наши считают долгом ставить чехов непременно выше русских. Почему? Я не знаю. Потому ли, что народ их грамотнее нашего, потому ли, что у них когда-то были благородный Гус и страшный Жижка, а теперь есть только «честные» и «ученые» Ригер и Палацкий? Конечно, чехи—братья нам; они полезны, не говорю, славизму (ибо славизма нет), а славянству, т. е. племенной совокупности славян, они полезны, как передовая батарея славянства, принимающая на себя первые удары германизма. Но с точки зрения культурных отличий нельзя ли чехов вообще назвать прекрасным орудием немецкой фабрики, которое славяне отбили у немцев, выкрасили чуть-чуть другим цветом и повернули против Германии? Нельзя ли их назвать, в отношении их быта, привычек, даже нравственных свойств, в отношении их внутреннего юридического воспитания, немцами, переведенными на славянский язык?.. За отсутствием аристократии духом страны правит вполне и до крайности современно, по-западному правит ученая буржуазия... Политическая история сделала чехов осторожными, искусными в либеральной дипломатии. Они вполне по-европейски мастера собирать митинги, делать демонстрации во время и не рискуя открытыми восстаниями. Они не хотят принадлежать России, но крайне дорожат ею для устроения Австрии. Одним словом, все у них как-то на месте, все в порядке, все по-модному вполне» («Византизм и славянство»—Леонтьев, т. V, стр. 149—152). Леонтьев был прав, утверждая, что Чехия, вопреки чаяниям славянофилов, идет по обычному пути развития буржуазного государства, опирающегося на растущую промышленность. Уже в 1877 г., отвечая от имени Славянского комитета на послание Ригера, И. Аксакову

пришлось «своими словами» передавать мнение Леонтьева, что славянофилы «предпочли бы видеть в чехах передовой пост славянского востока на западе; что «древняя культура», которую так надмевается Ригер, не принесла в Чехии никаких особенно пышных плодов, именно потому, что была совсем чужда чешской национальности; что единственное «историческое лицо, которым в праве гордиться чехи—это Гус» и т. д. В 1881 же году И. Аксаков повел уже прямое нападение на Ригера как на выразителя и защитника «западного» либерально-буржуазного мировоззрения, при чем, подобно Леонтьеву, вспомнил речь Ригера на московском славянском обеде, где Ригер утверждал, что «Чехи, как и весь цивилизованный Запад, переросли всякие религиозные вопросы. Ему возражал бедоносно покойный кн. В. А. Черкасский» (Сочинения И. С. Аксакова, т. VII, М., 1887, стр. 593—598. «Ответ на послание Ригера» см. в томе I, М., 1886, стр. 308—315). Для К. Леонтьева именно чехи сделались навсегда синонимом славянской европеизованной буржуазии: буржуазная цепь «Ригеров, Наперстков, Смолков, Фит и т. д.» у него повторяется в письме от 19 ноября 1888 г., где он предлагает русскому консулу в Вене К. А. Губастову распространением реакционных сочинений Леонтьева «дразнить каких-нибудь Женишек, Иречек, Наперсток, Поспешиль, Намешиль и т. п. братьев-славян» («Русское Обозрение», т. X, IV, стр. 454).

<sup>80</sup> Аверкиев, Димитрий Васильевич (1836—1906) — драматург, романист, критик, постоянный сотрудник «Русского Вестника», автор когда-то популярной драмы «Каширская старина» (1871) и других драм и романов из древнерусской жизни.

Авсеенко, Василий Григорьевич (1842—1913), историк, критик и романист, поместивший в 1870—1880-х годах в «Русском Вестнике» обширные великосветские и реакционно-обличительные романы: «Скрежет зубовный», «Злой дух», «Млечный путь», раздражавшие Леонтьева своею нехудожественностью.

<sup>81</sup> В «Хронологии моей жизни» читаем: «50—51 г. 2-й курс. Знакомство с Тургеневым. Признание таланта. «Женитьба по любви» (неизд. рукопись). Осенью 1851 г. Тургенев, признавший в К. Н. Леонтьеве по первой же его художественной вещи — комедии «Женитьба по любви» (неизд.) большой талант, познакомил его с писательницей Е. А. Салиас де Турнемир, урожд. Сухово-Кобылиной (1815—1892), хозяйкой и вдохновительницей одного из либеральных московских литературных салонов. В ее салоне юноша Леонтьев, тогда студент медицинского факультета, встречался с профессорами московского университета, историками Г. Н. Грановским (1813—1855), П. Н. Кудрявцевым (1816—1858), М. Н. Катковым, П. Леонтьевым и др. (см. «Мои дела с Тургеневым». Леонтьев, т. IX, стр. 103).

<sup>82</sup> Фридрих II, король прусский (1740—1786), знаменитый полководец, был смолоду и остался навсегда горячим поклонником французской поэзии и философии и сам сочинял французские стихи и философские опыты.

<sup>83</sup> Леонид (Краснопевков), епископ дмитровский, викарий московской митрополии (1817—1876), впоследствии архиепископ ярославский и ростовский, бывший морской офицер, очень популярный и авторитетный в московском дворянском кругу. Леонтьев был с ним лично знаком.

<sup>84</sup> Г. А. Потемкин (1739—1791) был излюбленным лицом эстетической историософии К. Леонтьева, Потемкина и герцога Жана де Монморанси (Montmorency, 1760—1826), участника войны за независимость американских штатов, во время французской революции временно примкнувшего к третьему сословию, а при реставрации — министра иностранных дел и пэра Франции. — Леонтьев противопоставляет деятелям буржуазной толпы, банальные фамилии которых сводит в конце концов к ругательству — *La gasaille*. Вряд ли под «Dubois» можно разуметь известного политического деятеля публициста Поля Франсуа Дюбуа (1793—1874), основавшего в 1824 г. вместе с П. Леру, известное издание «Globe», вернее, это просто — синоним ходовой буржуазной фамилии.

<sup>85</sup> Леонтьев делает ряд противопоставлений мелких обывателей из константинопольской международной буржуазии, вхожей в русское посольство, — крупным деятелям европейского прошлого и современности — лорду Байрону (1788—1824) и Бисмарку (1815—1897).

<sup>86</sup> Павел Дмитриевич Голохвостов (1839—1892) — историк, общественный деятель, славянофил, крупный землевладелец. Как специалист по истории земских соборов старой Руси, в 1882 г. он был привлечен Н. П. Игнатьевым к разработке вопроса о созыве земского собора. Голохвостов был навсегда в доме И. С. Аксакова и постоянным сотрудником его изданий. Позднее (1885) Голохвостов обратил на себя внимание исследованием «Законы стиха русского народного и нашего литературного». Упомянутый далее Шатилов — Иосиф Николаевич (см. выше), знакомец Леонтьева еще по Крыму, в данное время — с 1864 г. был президентом Московского сельскохозяйственного общества.

<sup>87</sup> Пророку Иеремии приписывается «Книга пророчеств» и «Плач», входящие в состав «Библии».

<sup>88</sup> После установления Ватиканом догмата о папской непогрешимости, левая часть католиков, несогласная на принятие нового догмата и на усиление власти папы и состоявшая преимущественно из епископов и священников германских, объединилась в «старс-католическом» движении, целью которого было, избавившись от «папизма», вернуться к епископату, каким он был в ранние времена христианства. Движение возглавлялось германским богословом Деллингером. Славянофильские круги с большим интересом следили за развитием этого движения; ошибочно предполагая, что оно поведет к слиянию старокатоликов с «православной церковью». Один из славянофилов, генерал А. А. Киреев, принимал в нем непосредственное участие и много писал о старокатолическом движении (Сочинения, т. I, СПб, 1908).

<sup>89</sup> Кто был этот Толстой — затрудняемся сказать.

<sup>90</sup> Ка ди-Кёй — квартал в Константинополе, где в гостинице Каттрэй Леонтьев жил в начале 1873 г. Петраки — грек, слуга-воспитанник Леонтьева, вывезенный им из Янины.

<sup>91</sup> К. Н. Леонтьев 11 февраля 1863 г. поступил канцелярским чиновником в Азиатский департамент министерства иностранных дел, где прослужил около девяти месяцев, «повышаясь» в должности помощника главного журналиста и помощника столоначальника и изучая в архиве консульские донесения с востока. 25 октября Леонтьев был назначен секретарем и драгоманом консульства в г. Кандии, на о. Крите, где прожил полгода. Критскими впечатлениями внушены Леонтьеву его первые произведения из жизни Востока — «Очерки Крита» (1866), «Хризоз» (1868), «Хамид и Манолы» (1869). Критскую жизнь Леонтьев обозначает в неизданной «Хронологии» своей, как «новую счастливую жизнь». Летом 1864 г. он вынужден был покинуть Крит из-за ссоры с французским консулом Дерше. Дерше «оскорбительно отозвался о России. В Константине Николаевиче заговорила кровь его вспыльчивого и отважного деда П. М. Карабанова. Он рад был оскорбить забывшегося француза и в канцелярии французского консульства нанес Дерше удар хлыстом. Дерше был неправ в этой истории, его начальство за него не заступилось, но наш посол, хотя ему и понравился поступок Леонтьева, вынужден был отозвать последнего в Константинополь» (А. Коноплянец. Жизнь К. Леонтьева в связи с развитием его мирозерцания. «Памяти Леонтьева». СПб, 1911 г., стр. 61—62).

<sup>92</sup> В «Хронологии моей жизни» читаем: под 1855-м годом: «Феодосия; знакомство с Лизой Политовой. Далее идут записи: «1857. Лето. Феодосия; гошпиталь. Лиза... любовь и нужда» (неизд. рукопись). В 1857 г. весною Леонтьев писал матери: «До 1-го июля буду есть, курить и пить кофе на счет одной милой девушки, с которой мы всегда делимся, как можем; когда у меня есть деньги, она берет от меня подарки, а теперь она взяла шить наволочки и чехлы на стулья у кого-то, чтобы я мог есть и курить табак до июля» (Неизданные письма к матери). Эти записи и сообщения относятся все к феодосийской мещанке, дочери грека-торговца, Елизавете Павловне Политовой. Эту полуграмотную девушку большой красоты и доброты Леонтьев полюбил на всю жизнь. 19 июля 1861 г. их связь была превращена в официальный церковный брак. Под 1862-м годом в «Хронологии» есть запись: «Нужда, голод, холод. Ужасное уныние. Кротость и любовь Лизы». С начала 1870-х годов Елизавета Павловна страдала душевною болезнью, сменявшеюся долгими периодами сравнительной душевной устойчивости, но и в болезни она не теряла своей привычной доброты и крайнего бескорыстия и благодушия. После смерти К. Леонтьева она жила с его племянницей М. В. Леонтьевой и скончалась в Орле, уже после октябрьской революции, в глубокой старости.

<sup>93</sup> К этому знакомству с богатой помещицей семьей Кушниковых (С. С. Кушников (1765—1839) был петербургским губернатором и сенатором) относятся пометы в «Хронологии моей жизни»: «56 год. Зима. Отъезд к Шатилову в Тамак. Маша Кушникова. 57 год. Зима. Тамак. Весна. Неудачное сватовство».

<sup>94</sup> М. В. Леонтьева (см. выше). Она владела половиною Кудинова, завещанного Ф. П. Леонтьевым сыновьям своим — Владимиру, отцу М. В. Леонтьевой, и Константину.

<sup>95</sup> Федосья Петровна Леонтьева, урожд. Карабанова (1794—1871), оказала большое жизненное влияние на характер, умственный склад и эстетические вкусы своего младшего и любимого сына. Ее записки, начатые ею по настоянию сына, богаты бытовой наблюдательностью и очень живы по изображению лиц и событий. Часть их, относящаяся к событиям 1812 г., напечатана в «Русском Вестнике» — «Записки Ф. П. Леонтьевой» (1883, кн. 10, 12; 1884 г., кн. 2). Другой отрывок — «Рассказ моей матери об императрице Марии Федоровне» напечатан К. Н. Леонтьевым с его введением и пояснениями в том же журнале в 1891 г. (кн. 4 и 5). Образ матери отражен в автобиографическом отрывке Леонтьева «Мое

обращение и жизнь на св. Афонской горе» (Леонтьев, т. IX, стр. 11—34). Извлечение из писем Леонтьева к матери в эпоху Крымской войны см. там же, стр. 155—186).

<sup>96</sup> Портрет этот находится ныне в Центральном Литературном Музее в Москве.

<sup>97</sup> Кн. Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), министр иностранных дел с 1856 по 1882 гг., государственный канцлер.

<sup>98</sup> Miss Milbank — мисс Мильбанк, дочь баронета Ральфа Мильбанка, вышла в 1815 г. замуж за поэта Дж. Н. Байрона. Через год мисс Мильбанк оставила мужа и вскоре формально развелась с ним. Мисс Мильбанк была типичной представительницей лицемерной чинности и тонности английской аристократии. Она не раз спрашивала мужа: «Скоро ли он оставит скверную привычку писать стихи?» Шум, поднятый в обществе по поводу развода, был одною из причин бегства Байрона из Англии в 1816 г.

<sup>99</sup> Жюль Фавр (Favre, 1809—1880), французский политический деятель, адвокат При Луи-Филиппе он был в оппозиции и усиленно «защищал» в политических процессах. Во время февральской революции 1848 г. был среди «левых», но голосовал с правыми за закрытие политических клубов. После переворота 1851 г. сделался виднейшим парижским адвокатом (защищал Орсини, покушавшегося на Наполеона III). Вступив в законодательный корпус в 1858 г., был первым оратором оппозиции. После Седана, в 1870 г., стал во главе «правительства национальной обороны», но из страха пред революционным движением, через несколько дней уже вел переговоры с Бисмарком и явился одним из самых жестоких палачей коммуны. В оценке Фавра к Леонтьеву близко подходит Герцен, в глазах которого Фавр был безпринципнейшим болтуном и политическим эгоистом-приспособленцем. По поводу речи Ж. Фавра, произнесенной в 1867 г. при вступлении в Академию и направленной против материализма и социализма, Герцен писал Огареву: «Что это за махровые краснобаи и что за узколобые риторы?» (27 апреля 1867 г.), а в «Былом и Думах» писал о той же речи: «Лицемерие, неправда о науке, неправда во всем... И что ему было за дело защищать казенный спиритуализм? Это — риторы и софисты...» (А. И. Герцен. «Былое и думы». Academia, т. III, М.—Л., 1932, стр. 228).

<sup>100</sup> В «Аттестате» К. Н. Леонтьева читаем: «По прошению определен врачом, с правом государственной службы, при имениях Арзамасского уезда полковницы баронессы Розен и действ. статского советника Штевена, предписанием нижегородского военного губернатора от 7-го марта 1859 г. за № 2778. По представлению нижегородской врачебной управы, указом правительствующего сената от 2 июля 1861 г. за № 105, произведен за выслугу лет в титулярные советники со старшинством с 20 июня 1854 г. Предписанием начальника нижегородской губернии от 13 февраля 1861 г. за № 210 уволен по прошению от службы» (неизд.). Живя у Розенов, Леонтьев усиленно занимался литературной работой (роман «Подлипки» (1859—1860), повесть «Второй брак», статья о «Накануне» Тургенева и др. Жизнь Леонтьева у Розенов отражена в романе «В своем краю» («Отч. Записки», 1864, кн. 5—7, и отдельно, СПб, 1864). По собственным указаниям Леонтьева, в двух героях этого романа — враче Рудневе и студенте Милькееве — отражена личность самого автора. Профессионально-будничная сторона Леонтьева — врача у Розенов — досталась Рудневу, «праздничная» мыслительная сторона отдана Милькееву, в уста которого автором вложены мысли, позднее развитые Леонтьевым в его статьях и книгах.

<sup>101</sup> Степан Семенович Дудышкин (1820—1866), либеральный журналист и критик, в 1850—1860-х годах заведывавший критическим отделом и редакцией «Отечественных Записок», в которых напечатаны художественные произведения Леонтьева 1850-х и половины 1860-х годов.

Николай Николаевич Страхов (1828—1895), критик и философ, по политическим и государственным воззрениям близкий Н. Я. Данилевскому; по критическим взглядам последователь Ап. Григорьева. Близкий сотрудник «Отечественных Записок» и «Заря», он в конце 1860-х в начале 1870-х годов очень сочувственно относился к писательской деятельности Леонтьева. Под инициалами «Н. С.» Страхов напечатал в 1876 г. сочувственную заметку о Леонтьеве: «О византизме и славянстве» («Русский Мир», № 137). В дальнейшем наметилась сильное расхождение между взглядами Леонтьева и Страхова. В конце жизни Леонтьев не раз высказывал мнение о малой значительности литературной деятельности Страхова и относился к его личности с тем чувством, о котором писал: «Когда дело идет о (Вл.) Соловьеве, мне надо молиться так: «Боже! Прости и охлади во мне мое пристрастие!» А когда о Страхове, то иначе: «Боже! Прости и уменьши мое отвращение!» («Русский Вестник», 1903, кн. 5, стр. 164).

<sup>102</sup> Б. П. Ключников (1841—1892), романист, автор реакционно-обличительного романа «Марево» (1864).

Под «топорными произведениями» Н. С. Лескова (1831—1895) Леонтьев разумеет его романы «Некуда» и «На ножках». Леонтьев решительно бракует наиболее

прославленные из реакционных романов, печатавшихся в «Русском Вестнике» — романы Ключникова, В. Крестовского, Лескова, Авсеенко.

Из произведений А. Ф. Писемского (1820—1881) Леонтьев ценил роман «Люди сороковых годов». «По моей критике, это лучший из романов Писемского и самый неизвестный при этом», — писал он А. Александрову. — «Кажется, и вы его не читали? А такое здоровое произведение вам, еще пропитанному Достоевским, очень полезно» (Анатолий Александров. «Памяти К. Н. Леонтьева». Сергиев Посад, 1915, стр. 41).

<sup>103</sup> Две предыдущие страницы, посвященные вопросу о гоголевском влиянии в русской художественной прозе и о свободе некоторых писателей от этого влияния, являются зародышем позднейшей большой статьи К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль, веяние. О романах Л. Н. Толстого» («Русский Вестник», 1890, кн. 6—8; отдельно — «О романах Л. Толстого», М., 1911). На указанных страницах автобиографии у Леонтьева те же писатели и те же произведения, что и в работе о Л. Толстом, служат образцами желанного ему литературного стиля, «Вертер» Гете, «Манон Леско» аббата Прево, «Рене» Шатобриана, Н. С. Кохановская с ее повестями «После обеда в гостях», «Кирилла Петров и Настасья Дмитрова» и др.; Марку Вовчку (М. А. Маркович, 1835 — 1907), украинско-русской писательнице, очень ценимой Тургеневым и Добролюбовым, К. Н. Леонтьев посвятил большую статью «По поводу рассказов Марка Вовчок («Отеч. Записки», 1861, кн. 3—4) — Леонтьев, т. VIII, стр. 15—64).

<sup>104</sup> Об Александре Николаевиче Леонтьеве см. далее в тексте автобиографии. — А. Н. Леонтьев выведен К. Н. Леонтьевым в автобиографическом неизданном романе «От осени до осени», составлявшем пятое звено в последовательной цепи романов «Река времени», написанной Леонтьевым в конце 1860-х годов и уничтоженной в 1871 г. В Киреево (Кудиново) перед самым падением крепостного права, к властной и умной помещице Марье Павловне Львовой (Федосье Петровне Леонтьевой), у которой гостит ее сын Николай, приезжает другой сын Алексей (Александр). Он пытается захватить в свои руки имение, отстранив мать. Николай Львов, по настоянию отсутствующего брата Андрея (Константин Леонтьев), писателя, вступает в борьбу с Алексеем. Происходит бурная сцена, во время которой Алексей оскорбляет мать непристойным намеком. «Тогда Николай, подступив, сказал: Алексей, замолчи. Ты забыл меня? Я велю связать тебя и выбросить на дорогу. — Попробуй, воскликнул Алексей. Все, слушая, дрожали. В эту минуту из коридора отворилась дверь. Мария Павловна остановилась на пороге.

— Разойдитесь сейчас каждый к себе, — сказала она повелительно. — Чести моей не нужно защитников, а тех, кто своей чести не помнит, и я сумею еще наказать. У меня есть на деревне пока рабы, которые выведут вон из дома моего извергов». Николаю Львову удается в конце концов прогнать Алексея. Образ его в романе очерчен отрицательными чертами: это кутила и бесстыдник, подобие армейского Ноздрева.

<sup>105</sup> Владимир Николаевич Леонтьев (182[?]-1873), публицист, ближайший сотрудник радикального «Современного Слова», редактировавшегося в 1862—1863-х годах Н. Г. Писаревским (ум. 1895). Петербургский полицеймейстер доносил в 1863 г. генерал-губернатору про Писаревского: «Мне говорили и это фактически подтвердилось, что в статьях, присылаемых к нему для помещения в его газете, он выискивает места, имеющие противоположительственный характер, и усиливает выражения». («Полн. собр. соч. и писем Герцена» под ред. М. К. Лемке, т. XVI, П., 1920, стр. 397). В 1863 г. «Современное Слово» было прекращено «по высочайшему повелению» за «вредное направление». Кроме «Современного Слова», где он поместил ряд статей о крестьянской реформе, Вл. Н. Леонтьев работал в «Отечественных Записках» и «Голосе» Краевского, где был помощником редактора. В 1868 г. он издал книгу «Обвиненные, оправданные и укравшиеся от суда. Из практики новых судов с критическим разбором предварительных следствий» — опыт критического изучения практики нового уголовного суда.

<sup>106</sup> В неизданных воспоминаниях М. В. Леонтьевой («К. Леонтьев в Турции, 1863—1873») читаем: «В 1871 году, в Салониках, где он был консулом, внезапно заболевает К. Н. расстройством, которое он счел холерой. Доктор не нашел этой болезни, а рассказал, что вследствие внезапно наступивших прохладных 2—3 ночей в городе были заболевания, но все больные уже выздоравливали. К. Н. был вне себя от ужаса смерти... Доктор ему помог, хотя и говорил мне, что К. Н. сам себя прекрасно лечит. В первые же дни болезни, ожидая быстрого конца, К. Н. дал клятву принять монашество, если останется жив, и тогда же задумал ехать на Афон, если поправится. Как только последовало улучшение его здоровья, он решил ехать на Афонскую гору... Он очень был доволен приемом в монастыре св. Пантелеймона, тяготился лишь тем, что к нему относились там как к консулу, а служба его в то время ужасно тяготила. На желание Леонтьева принять постриг афонские «старцы» Иероним и Макарий (см. ниже) ответили отказом. Они боялись нажить неприятностей от русского правительства, так как Леонтьев

был должностным лицом. Леонтьеву пришлось вернуться в Салоники. Осенью, — а не зимой, как пишет Л. в автобиографии, — он — больной и слабый — поехал на Афон вторично, с намерением надолго там поселиться; в 1872 г. он вышел ради этого в отставку. Монастырский полуостров со своими 20 монастырями, греческими, болгарскими, русскими, с бесчисленными скитами и кельями, с 8—10 тысячами самоуправляющегося монашеского населения был для Леонтьева школой его политического и религиозного византизма и воинствующей православно-монархической реакции. Леонтьев много и разнообразно писал об Афоне («Четыре письма с Афона», 1872, «Панславизм на Афоне», 1873, «Пасха на Афонской горе», 1882, «Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской, 1889»). — Упомянутый Леонтьевым Зограф — «болгарский общежительный (Киновия) монастырь, второй по богатству на Афоне; он имеет до 50—60 тысяч дохода только из Бессарабии», по принадлежащей ему земель (К. Леонтьев, т. V, стр. 40); монастырь обладал большой библиотекой с древними рукописями. — В первом «письме с Афона» (1872) К. Леонтьева находим такое признание: «Вот уже более полугодом как я живу на Афоне... Я многое видел и многое прочел. На столе моем рядом лежат Прудон и пророк Давид Байрон и Златоуст, Иоанн Дамаский и Гете, Хомяков и Герцен» (К. Леонтьев. «Отшельничество, монастырь и мир. Четыре письма с Афона». Сергиев Посад. 1913, стр. 3). — Пьер Жозеф Прудон (1809—1865), знаменитый французский экономист и политический деятель, исчерпывающе охарактеризован К. Марксом в его «Нищете философии», вызванной книгой Прудона «Система экономических противоречий или философия нищеты» (1846): «Он хочет, как муж науки, витать над буржуа и пролетариями, будучи лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между трудом и капиталом, между политической экономией и коммунизмом». Леонтьев хорошо был знаком с книгой Прудона «Что такое собственность?» (1840). Ее знаменитый ответ: «Собственность есть кража» еще Герцену представлялся, как «вывод логический и строгий, которым он развивает невозможность, преступность, нелепость права собственности» (Дневник, 1844, 3 декабря). Для Леонтьева Прудон был интересен как яркий выразитель этого взгляда, роднящего Прудона с социалистами, но в то же время Прудон для Леонтьева никогда не переставал быть совершеннейшим образцом «передового» «буржуа». — Наоборот, английский историк Генри Томас Бокль (1821—1862), автор знаменитой «Истории цивилизации в Англии» (1857—1861), столь популярной у русского радикального читателя 1860—1870-х годов, берется Леонтьевым как образец буржуазного гуманистического позитивизма. Иоанн Лествичник (умер около 707 г.) — аскетический писатель, автор, «Лествицы» — знаменитого практического руководства к монашеской жизни, принятого восточным монашеством. «Лествица» была издана Оптиной Пустынью (М. 1873).

<sup>107</sup> Духовник Иеросхимонах Иероним («в мире — купеческий сын Иван Соломенцев, 1803—1835) и архимандрит Макарий (Михаил Сушкин, сын богатого купца, 1823—1889) в 70-х годах XIX ст. возглавляли русский Пантелеймонов монастырь на Афоне. Оба оказали большое влияние на жизненный и мыслительный путь Леонтьева.

В «Воспоминании об архимандрите Макарии» он рисует с большой идеализацией облик «твердого, непоколебимого, бесстрашного и предприимчивого» Иеронима, «не получившего почти никакого образования», но «чтением развившего свой сильный природный ум... до умения проникаться в удалении своим всеми самыми живыми современными интересами», — и рядом с ним изображает более мягкий облик его ученика Макария, правоверного аскета, который был «вместе с тем вполне современный, живой привлекательный, скажу даже, в некоторых случаях почти светский человек, т. е. с виду изящный, любезный, веселый и общительный» («Гражданин», 1899, № 196, 246; см. также: «Иеросхимонах Иероним и священноархимандрит Макарий»; изд. 3-е, М., 1908; отрицательный отзыв об Иерониме известного археографа еп. Порфирия Успенского см. у А. Титова: «К жизнеописанию Порфирия Успенского», «Русский Архив» 1913, кн. 3; чуждое идеализации изображение Афона см. в книге Н. А. Благовещенского. «Среди богомольцев», СПб, 1871 г.).

<sup>108</sup> Игуменья Митрофания (до монашества — баронесса П. Г. Розен, дочь гр. В. Розена, генерал-адъютанта и наместника на Кавказе, фрейлина «высочайшего двора», сестра помещика Розена, у которого жил Леонтьев), настоятельница Серпуховского владычного монастыря и основательница Покровской общины в Москве; в октябре 1874 г. она предстала перед Московским окружным судом по обвинению в целом ряде мошенничеств и подлогов. На суде были доказаны присвоение Митрофанией денег Медынцевой, находящейся у нее под опекой, подлог завещания миллионера-скопца Солдатенкова, подделка векселей.

<sup>109</sup> Брайт (Bright) Джон (1811—1889) — английский политический деятель, основатель, вместе с Р. Кобденом, «Лиги против хлебных законов» (1839), с 1843 г. член палаты общин, в 1868—1880-х годах один из вождей либералов,



несколько раз получавший министерские портфели в кабинетах Гладстона. — Рудольф Вирхов (Virchow, 1821—1902), знаменитый ученый, патолог и антрополог, и общественный и политический деятель. Исходя из убеждения, что «врачи — естественные адвокаты бедных», Вирхов много работал в области общественной медицины и санитарии, принимая участие в муниципальном управлении Берлина. В 1856 г. он был избран в прусский ландтаг, где сделался одним из вождей свободомыслящих. После создания Бисмарком Германской империи (1871) Вирхов, не сочувствуя его политике, ушел на время от политической деятельности. Позднее, в 1880—1893 гг., он опять был членом райхстага. С конца 1870-х годов в политических убеждениях Вирхова был уже заметен крутой поворот вправо.

<sup>110</sup> Петр Николаевич Стремоухов (ум. 1885), вице-директор, а впоследствии директор Азиатского департамента министерства иностранных дел.

Евгений Петрович Новиков (1826—1901), историк и государственный деятель, с 1870 по 1880 гг. — русский посол в Вене, с 1880 г. в Константинополе, затем член Государственного совета. Ценя Леонтьева как писателя и дипломата, Новиков предполагал предоставить ему одно из важных консульских мест в Австро-Венгрии (напр. в Праге). — «Янина» — главный город внутренней Албании, где Леонтьев был консулом в 1869—1870-х годах.

<sup>111</sup> *Credo quia absurdum* — «оттого и верую, что это неразумно»: крайняя формула слепой религиозной веры.

<sup>112</sup> М. В. Леонтьева в 1869—1876-х годах, в бытность К. Н. Леонтьева консулом в Янине и Салониках, провела несколько месяцев в доме своего дяди.

<sup>113</sup> Екатерина Борисовна Леонтьева — вцело отдавшая себя заботам о детях своего брата Н. Б. Леонтьева.